



История одного немца

Себастиан Хафнер

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

От переводчика

Себастиан Хафнер родился в 1907 году в Берлине, по профессии он юрист с несколькими дипломами. В 1938 г. ему удалось уехать в Англию — поводом была стажировка (тогда из Германии еще выпускали), но он решил покинуть Германию — если не навсегда, то, по крайней мере, надолго, пока в ней господствует нацистский режим. В Англии он работал журналистом, печатался в еженедельнике “Обсервер”. В Германию вернулся в 1954 году; писал сначала для газеты “Вельт”, потом для журнала “Штерн”. Издал несколько исторических исследований, сразу ставших бестселлерами: “Черчилль”, “Заметки о Гитлере”, “От Бисмарка до Гитлера”. Умер в 1999 году.

Его юношеские дневники и позднейшие комментарии к ним, положенные в основу книги “Биография одного немца” (1939), описывают реальность преднацистской и нацистской Германии. Отец Хафнера тоже был юристом, еще при кайзере, и с приходом к власти новой политической партии он вынужден был, унижаясь, заполнить анкету и с первым, и с пятым, и с семьдесят пятым пунктом, подводившим итог всем остальным: “Поддерживаете ли вы ныне существующий прогрессивный режим?”

Даже отказ заполнять эту анкету грозил Хафнеру-старшему потерей пенсии. А чем грозил отрицательный ответ на последний вопрос, было ясно и ему, и его сыну. Отец неделю боролся с собой, не желая уступать режиму озверелых сапожников. Сын же, автор будущей книги, сказал сразу: “Я уеду”. И Хафнер-старший подписал все эти унижительные бумаги, чтобы дать хотя бы сыну возможность избежать грозящего кошмара.

И тот уехал, покинув родину навсегда.

Книга впервые вышла в 2000 году и сразу завоевала внимание читателей и критики. “Цайт” пишет: “Первая книга Себастиана Хафнера по-настоящему блестящее открытие. Возможно даже, это лучшее его произведение”.

Биография одного немца

Воспоминания 1914–1933 гг. Перевод с немецкого Е. Колесова

От переводчика

Себастиан Хафнер родился в 1907 году в Берлине, по профессии он юрист с несколькими дипломами. В 1938 г. ему удалось уехать в Англию — поводом была стажировка (тогда из Германии еще выпускали), но он решил покинуть Германию — если не навсегда, то, по крайней мере, надолго, пока в ней господствует нацистский режим. В Англии он работал журналистом, печатался в еженедельнике “Обсервер”. В Германию вернулся в 1954 году; писал сначала для газеты “Вельт”, потом для журнала “Штерн”. Издал несколько исторических исследований, сразу ставших бестселлерами: “Черчилль”, “Заметки о Гитлере”, “От Бисмарка до Гитлера”. Умер в 1999 году.

Его юношеские дневники и позднейшие комментарии к ним, положенные в основу книги “Биография одного немца” (1939), описывают реальность преднацистской и нацистской Германии. Отец Хафнера тоже был юристом, еще при кайзере, и с приходом к власти новой политической партии он вынужден был, унижаясь, заполнить анкету и с первым, и с пятым, и с семьдесят пятым пунктом, подводившим итог всем остальным: “Поддерживаете ли вы ныне существующий прогрессивный режим?”

Даже отказ заполнять эту анкету грозил Хафнеру-старшему потерей пенсии. А чем грозил отрицательный ответ на последний вопрос, было ясно и ему, и его сыну. Отец неделю боролся с собой, не желая уступать режиму озверелых сапожников. Сын же, автор будущей книги, сказал сразу: “Я уеду”. И Хафнер-старший подписал все эти унижительные бумаги, чтобы дать хотя бы сыну возможность избежать грозящего кошмара.

И тот уехал, покинув родину навсегда.

Книга впервые вышла в 2000 году и сразу завоевала внимание читателей и критики. “Цайт” пишет: “Первая книга Себастиана Хафнера по-настоящему блестящее открытие. Возможно даже, это лучшее его произведение”.

Германия — ничто, однако каждый из немцев — это кто-то.
Гёте, 1808

Вначале — самый главный вопрос: кто вы и что делаете в это великое время? Я отвечаю так: я тоже по-своему творю великое, ибо великими представляются мне все времена, когда человек, не имея иного выхода, кроме как встать на собственные ноги, несмотря на смертельное давление режима, хоть желая того, хоть не желая, сумел понять, что он — ЛИЧНОСТЬ! На этом

можно пока и остановиться — вы меня поймете.

Петер Ган, 1935

1

История, которую я хочу здесь рассказать, в большой мере напоминает дуэль.

Это была дуэль между двумя слишком неравными противниками: мощным, всесильным и безжалостным государством, с одной стороны, и маленьким, никому не известным и ничем не выдающимся человеком с другой. И дуэль эта происходила не на том игровом поле, которое обычно считают политикой: мой человек не занимался политикой и уж тем более не был оппозиционером или “террористом”. Просто он все время отступал в тень. Ему ничего не надо было, кроме как оставить за собой — хотя бы чуточку! — право быть собой, жить своей жизнью и радоваться своим радостям. Но именно этого то государство, в котором он жил и с которым вынужден был считаться, не желало ему позволить, всякий раз отнимая у него то одно, то другое, причем самыми жестокими, хотя и примитивными, способами.

Угрожая самыми страшными карами, такое государство требует от своего человека, чтобы он продал своих друзей, предал любимую, расстался со своими убеждениями и принял взамен их то, что велят свыше, научился поднимать руку в таком приветствии, о котором никогда раньше не знал, чтобы он научился есть и пить не то, к чему привык, и делать то, что ненавидел с детства, а главное — чтобы он был готов в любой момент пуститься в любую затеянную государством авантюру, пусть даже его от нее воротит, забыв о своем прошлом и отказавшись от собственного “я”, и к тому же принимал все это с восторгом и чувством глубокой благодарности.

Человечку же ничего этого не хочется. Это нападение, жертвой которого он оказался, застало его врасплох, он никогда не мечтал быть героем, а тем более — мучеником. Он обычный, средний человек со всеми присущими ему слабостями, к тому же дитя грозной эпохи, вот он этого и не хочет. И он отваживается на дуэль — без энтузиазма, скорее от безысходности; но тем не менее с решимостью не сдаваться. Конечно, он стократ слабее своего противника, зато намного гибче его, это очевидно. Мы увидим, как он предпринимает отвлекающие маневры, уступает позиции и вновь внезапно отвоевывает их, как он балансирует на самой последней грани и избегает смертельных ударов в последний момент. И надо признать, что для среднего, ничем не выдающегося человека, не способного ни на геройство, ни на мученичество, он держится очень хорошо. И все же однажды он

будет вынужден прекратить борьбу — или, если хотите, перенести ее на другой уровень.

В роли государства здесь выступает Германский рейх, в роли человека — я сам. Хроника нашего состязания увлекательна не более, хотя и не менее, чем хроника любого спортивного состязания (я, по крайней мере, на это надеюсь). Но рассказываю я об этом не ради вашего или моего развлечения. У меня есть цель, лично для меня очень важная.

Моя единоличная дуэль с третьим рейхом — не частный случай. Такие дуэли, когда маленький человек один-одинешенек пытается отстоять свое “я” и свою личную честь под давлением враждебного к нему государства, ничего не зная о своих товарищах по несчастью и не надеясь, что об этом вообще когда-нибудь станет известно человечеству, происходят в Германии каждый день в течение последних шести лет. Кое-кто из дуэлянтов — люди, более склонные к героизму или к мученичеству, нежели я, — достигли больших высот: за свои убеждения они пережили концлагерь, были сожжены в блоке смертников или как-то иначе заслужили память о себе в будущей жизни. Прочие же сдались гораздо раньше и числятся теперь в резерве СА или ходят в партпредседателях своего жилого блока, ворча потихоньку. Мой случай — самый что ни на есть средний. По нему легко понять, на что человек сегодня может рассчитывать в Германии.

И, вникнув, нетрудно убедиться, что рассчитывать ему не на что. Может быть, у нас было бы больше надежды, если бы внешний мир хоть как-то реагировал на все это. Я все еще верю, что внешнему миру не безразлично, есть ли нам еще на что надеяться. И он, наверное, мог бы — нет, не избежать войны, время для этого уже упущено, — но хотя бы сократить ее года на два, на три. Ибо те немцы доброй воли, которые пытаются отстоять свой личный мир и свою личную свободу, на самом деле, не зная того, отстаивают мир и свободу во всем мире.

Поэтому мне кажется, что моя попытка привлечь внимание мира к тому, что происходит в нашей никому толком не известной Германии, имеет смысл.

Эта книга — просто повествование, без какого бы то ни было морализаторства. Но тем не менее мораль в ней есть : так же как в “Вариациях на тему Энигмы” Элгара, она без слов присутствует незаметно, но неизменно. Если вы, закрыв книгу, забудете описанные в ней перипетии и сцены, я не огорчусь. Но буду рад, если вы не забудете ту мораль, о которой я умолчал.

показало, что значит изучать историю на собственной шкуре, мне довелось пережить немало впечатляющих событий, которые принято называть “историческими”. Это могут сказать о себе все европейцы ныне живущих поколений, а уж немцы тем более.

Все эти исторические события, разумеется, оставили след в наших душах, как в моей, так и у моих соотечественников; того, что произошло позже, нельзя понять, не поняв произошедшего ранее.

И все же между тем, что происходило до 1933 года, и тем, что было позже, есть разница: все прежнее прошло мимо нас, оно нас почти не задело, за вычетом немногих убитых или обнищавших; но оно не требовало от нас выбора между самосохранением и предательством. Внутренняя жизнь человека оставалась неприкосновенной. Люди учились новому, вырабатывали новые убеждения, но в принципе они оставались сами собой. Те же, кто по своей воле или по принуждению оказался втянут в шестерни третьего рейха, этого о себе никто честно сказать не сможет.

Судя по всему, исторические события бывают разного масштаба. Одно такое “событие” может почти никак не отразиться на реальной действительности, то есть на личной жизни отдельного человека, а другое может полностью разрушить ее, не оставив камня на камне. В учебниках истории этого не прочтешь. “1890: Вильгельм II принимает отставку Бисмарка”. Дата, конечно, важная, пропечатанная в учебниках по истории Германии жирным шрифтом. Однако для любого отдельно взятого немца она не значила ровным счетом ничего, если не считать узкого круга приближенных ко двору лиц. Все продолжали жить, как жили. Ни одна семья не распалась, никто из друзей не рассорился по этому поводу, никому не пришлось срочно уезжать за границу. Не отменяли ни свиданий, ни театральных спектаклей. У кого была любовь без взаимности, тот с ней и остался. У кого была взаимная любовь тоже. Бедные остались бедными, а богатые — богатыми... А теперь возьмите дату: “1933: Гинденбург провозглашает Гитлера канцлером”. Это же целое землетрясение, разрушившее жизнь 66 миллионов человек!

Как уже было сказано, в по-научному прагматичных учебниках истории об этой разнице в значении исторических событий не говорится ничего. Тому, кто хочет узнать подробности, придется читать мемуары, причем мемуары не членов правительства, а самых что ни на есть обыкновенных людей, а такие мемуары редки. Но именно из них он узнает, что одно “историческое событие” пронеслось над жизнью отдельного человека, то есть над реальностью, как облако над морем; ничто

не изменилось, лишь легкие тени отразились в воде. Другое же вызвало такую грозу и бурю, что моря и не узнать больше. А третье, возможно, заставит все моря пересохнуть.

На мой взгляд, историю нельзя понять, не учитывая этих личностных аспектов. А их-то как раз почти никто никогда не учитывает. Поэтому я, интереса ради, попробую сначала изложить двадцать лет предыдущей германской истории — так, как их понял и воспринял я, — прежде чем перейти к главной теме, к истории Германии, вошедшей в мою собственную жизнь. Излагать я их буду вкратце, чтобы только легче было понять, откуда взялось все последующее. Кроме того, так мы успеем ближе познакомиться друг с другом.

3

Моя сознательная жизнь началась с Первой мировой войны, как с удара гонга. Война для меня, как и для большинства европейцев, стала преждевременным концом летних каникул. Сразу скажу, что этот обрыв каникул был и остался для меня наибольшей травмой, которую нанесла мне та война.

С какой же милосердной внезапностью началась та война, если сравнить ее с мучительно медленным приближением войны теперешней! Первого августа 1914 года мы еще думали, что все обойдется, и нам не надо будет никуда уезжать от лета и солнца. Мы жили в деревенской усадьбе в Нижней Померании, вдали от городов, в лесах, которые я, тогда еще школьник, любил больше всего на свете. Мучительнее всего для меня была всегдашняя необходимость оставить мои леса в середине августа и ехать в город — для меня это была трагедия почти такая же, как сожжение новогодней елки после того, как праздники прошли. Но первого-то августа было еще не время, до конца каникул оставалось еще целых две бесконечные недели.

Тревожные вести приходили, конечно, еще до первого августа. В газетах появилось то, чего раньше не было: аршинные заголовки. Мой отец читал их дольше обычного, морща лоб и ругая австрияков, когда о них в газете заходила речь. Однажды в газете крупными буквами был напечатан заголовок: “Война!” Я впитывал в себя новые слова, значения которых не знал, то и дело прося взрослых объяснить, что такое “ультиматум”, “мобилизация”, “союзники”, “Антанта”. Наш сосед, майор, с обеими дочерьми которого я то дружил, то воевал, получил “повестку” — опять новое слово! — и внезапно уехал неведомо куда. Одного из сыновей хозяина нашей усадьбы тоже призвали. Когда он уезжал, все бежали вслед за повозкой, крича: “Победы тебе!”, “Дай бог без ранений!” и “Мы тебя ждем!” Кто-то крикнул: “Бей сербов!” — и я, вспомнив, как отец ругался, прочтя газету,

закричал: “И австрияков тоже!” И очень удивился, когда все вокруг почему-то засмеялись.

Но жальче всего мне было, когда я узнал, что из нашей усадьбы будут забирать коней, причем самых лучших — Ханса и Вахтеля, потому что они по каким-то спискам — боже, сколько у этого государства было всяких нелепых списков! — числились “в кавалерийском резерве”. Я любил каждую из лошадей, живших в усадьбе, и расставание с двумя лучшими из них отозвалось в моем сердце новой болью.

И все-таки самое неприятное было то, что в семье у нас все чаще повторялось слово “уезжать”: “Может быть, нам придется уезжать уже завтра”. Для меня это звучало так же мрачно, как: “Может быть, нам уже завтра придется умереть”. Ну почему же непременно завтра, когда до конца каникул остается еще целых две недели?!

Радио, если вы помните, тогда еще не было, а газеты добирались в наши леса с опозданием на сутки. Да в них ничего путного и не писали, если сравнить с газетами, выходящими в наши дни. Что говорить, дипломаты тогда меньше трепали языком... Короче, из всего этого выходило, что первого августа 1914 года нашей семье еще казалось, что войны не будет, а потому и переезжать в город смысла нет.

Я никогда не забуду это первое августа 1914 года — такого ощущения покоя, благоустроенности и безопасности я не испытывал потом никогда в жизни. Вот какой неожиданной стороной может обернуться личное переживание истории.

Была суббота, и в усадьбе царил мир и покой, как то бывает лишь на лоне природы. Все хозяйственные дела были уже закончены, коровы, звеня колокольчиками, возвращались в свои стойла, вся усадьба дышала покоем, наемные парни и девки разбрелись по своим каморкам, чтобы прихорошиться к очередным вечерним танцулькам. Внизу, в гостиной, украшенной оленьими рогами, с оловянными столовыми приборами и старинными блюдами из фаянса на столе, в мягких креслах сидели отец и хозяин усадьбы, вполголоса обсуждая что-то. Забежав туда, я, конечно, не понял произносимых ими слов, а потом и вообще забыл их. Но я не забыл, как звучали их голоса: светлый, полный надежды голос отца и низкий, уверенный бас нашего хозяина, сопровождаемый приятным дымом сигары, медленно поднимавшимся к потолку, и, пока они разговаривали, все было так спокойно, так хорошо и мирно. Тогда мне стало совершенно ясно: никакой войны быть не может, а значит, и в Боксхорн, на вокзал, нас ничто не гонит, и каникулы продолжатся, как всегда, до самой середины августа.

Когда я все это услышал, то вышел на улицу, и сердце мое так и пело от чувства облегчения, радости и благодарности; я почти молитвенно смотрел, как за лесами, вновь безраздельно принадлежавшими мне, садится солнце. С утра было пасмурно, но к вечеру распогодилось, и красно-золотое солнце парило в чистой голубизне, предвещая на завтра безоблачный день. Я был уверен, что бесконечные четырнадцать дней каникул, снова открывшиеся передо мной, будут такими же безоблачными.

На следующий день меня разбудили, когда сборы уже шли полным ходом. Сначала я не мог понять, что происходит: слово “мобилизация”, которое мне пытались объяснить пару дней назад, для меня ничего не значило. А теперь ни у кого не было времени объяснять мне что-либо. Потому что собираться и уезжать нам надо было никак не позже полудня, иначе потом могло не быть поездов. “Ну, вот тебе и пополам”, как выразилась одна наша горничная; что она имела в виду, я и теперь могу лишь догадываться, однако было понятно, что все пошло наперекосяк, и каждый теперь должен сам для себя решать, где ему быть и что делать. Поэтому мне удалось незаметно ускользнуть и направиться в свои леса, где меня и разыскали перед самым отъездом: я сидел на пеньке, обхватив голову руками, рыдая и не желая ничего слушать о том, что началась война и теперь каждому придется чем-то жертвовать. Меня кое-как погрузили в повозку, и она потащила след за двумя гнедыми лошадами — не Хансом и Вахтелем, их уже забрали, — поднимая за собой тучи пыли, навсегда заслонившие все бывшее. С тех пор я больше никогда не видел лесов своего детства.

Это был первый и последний раз, когда я ощутил войну как реальность, испытал естественную боль человека, у которого отняли и разрушили самое дорогое. Уже в пути все стало иным — напряженным, опасным, каким-то торжественным. Путешествие в поезде продолжалось не семь часов, как обычно, а все двенадцать. Мы то и дело останавливались, пропуская составы с солдатами, и каждый раз все бросались к окнам, махали руками и кричали что-то ободряющее. Ехали мы не в отдельном купе, как всегда, а стояли в коридоре или сидели на чемоданах, в тесноте, среди множества людей, все время вздыхавших и переговаривавшихся не как чужие, а как если бы они были век знакомы. Больше всего говорилось о шпионах. За эту поездку я много узнал об опасной профессии шпиона, прежде вовсе мне не известной. Через все мосты мы переезжали очень медленно, и у меня каждый раз сладко замирало сердце: а вдруг какой-нибудь шпион подложил под мост бомбу! В Берлин мы прибыли уже за полночь. Никогда в жизни меня не укладывали спать так поздно! В квартире ничто не

было готово к нашему приезду, мебель стояла в чехлах, кровати не застелены. Мне наскоро постелили на диване, в пропахшем трубочным табаком кабинете отца. Нет, все-таки в войне есть своя прелесть!

В последующие дни я узнал очень много за очень короткое время. Я, семилетний мальчишка, совсем недавно почти ничего не знавший о войне, не говоря уж о таких вещах, как “ультиматум”, “мобилизация” и “кавалерийский резерв”, мог теперь с ходу, точно знал это всю жизнь, рассказать не только о том, что, как и где происходит на войне, но и ответить на вопрос “почему”: мне было известно, что война началась из-за реваншизма французов, из-за торговой зависти англичан и из-за дикости русских. Я мог выговорить эти слова без запинки. В один прекрасный день я начал читать газеты и удивился, насколько легко сумел все понять. Я попросил карту Европы и с первого взгляда убедился, что “наши” без труда справятся с Францией и Англией; только огромные размеры России меня слегка ошеломили, но я быстро успокоился, узнав, что угрожающая численность русских фактически сводится на нет их невероятной тупостью, низостью и пьянством. Я усвоил — причем, как уже говорилось, так быстро, как будто знал всегда, — имена военачальников и численность армий, а также поверил в наивный энтузиазм и удивительную способность моего народа без малейшего сомнения или внутреннего конфликта поддаваться массовому психозу. (Возможно, эта способность призвана компенсировать недостаток таланта к индивидуальному счастью.) Я и подумать не мог, что кто-то откажется участвовать во всеобщем торжествующем безумии. Мне ни на миг не приходило в голову, что за этой атмосферой искреннего всеобщего праздника и веселья может таиться что-то злое или опасное.

Война тогда была для мальчишки-школьника в Берлине чем-то абсолютно нереальным: она была понарошку, как игра. Тогда еще не было ни воздушных налетов, ни бомб. Раненые встречались, но не часто, с живописными повязками. Кто-то из семьи уходил на фронт, это правда, и иногда приходили похоронки. Но на то ты и ребенок, чтобы быстро привыкнуть к чьему-то отсутствию; а то, что это отсутствие однажды становилось невозполнимым, уже ничего не меняло. Повседневные лишения и неудобства были не в счет. Хуже стали питаться — да, это чувствовалось. Потом были и голодные дни, и стучащие деревянные подошвы башмаков, и перелицованные костюмы, и сбор костей и вишневых косточек всей школой, и, что было совсем непривычно, частые заболевания. Однако на меня это все, признаться, не производило глубокого впечатления. Нет,

я не чувствовал себя “маленьким героем”. Я вообще никем особенным себя не чувствовал. Просто я думал о еде так же мало, как мало думает о ней болельщик на финальном матче чемпионата по футболу. Сводки с фронта меня интересовали гораздо больше, чем то, что будет сегодня на обед.

Сходства с футбольным болельщиком тут даже больше, чем кажется. Я тогда, ребенком, был таким же азартным “военным болельщиком”, какими бывают любители футбола. Но я был бы несправедлив к себе, если бы сказал, что на меня подействовала та пропаганда ненависти, с помощью которой с 1915 по 1918 год власти пытались воскресить в народе энтузиазм первых месяцев войны. Французов, англичан и русских я ненавидел не больше, чем болельщик какого-нибудь “Портсмута” ненавидит поклонников “Вулвергемптона”. Разумеется, я желал им поражения и всяческих неудач, но лишь потому, что такова была обратная сторона победы и удач “наших”.

Что было в счет, так это азарт военной игры — игры, в которой определяемые по каким-то загадочным правилам сотни пленных, километры завоеванных территорий, захваченные укрепления и потопленные корабли играли примерно такую же роль, как голы в футболе или “очки” в боксе. Я постоянно вел в уме “таблицу очков”. Читая в газетах сообщения с фронта, я “пересчитывал” их по своим секретным, выдуманым правилам, согласно которым, например, десять пленных русских приравнивались к одному пленному французу или англичанину, а пятьдесят самолетов — к одному кораблю-броненосцу. Если бы печатали данные об убитых, то я бы наверняка включал в свою таблицу и их, не представляя себе, как воочию выглядят те, кого я себе таким образом подсчитываю. Это была бесконечная тайная игра, манившая своим греховным азартом, она заслоняла все, заменяя собой реальную жизнь, затягивая, как рулетка или курение опиума. Я и мои товарищи играли в нее всю войну, четыре года подряд, безнаказанно и без всяких помех — и именно эта игра, а не безобидные детские “войнушки”, которые мы иногда тоже устраивали на улицах и во дворах, наложила на всех нас свой неизгладимый отпечаток.

4

Возможно, кому-то покажется, что рассказывать в таких подробностях об очевидно неадекватной реакции одного ребенка на мировую войну не стоило. Разумеется, не стоило бы приниматься за это, если бы речь шла о единичном случае. Но в том-то и дело, что этот случай далеко не единичен. Таким же или очень похожим образом войну воспринимало целое поколение немцев в свои детские или юношеские годы. И это было именно

то поколение, которое сейчас готовит новую войну.

Оттого что эти люди были тогда детьми или подростками, воздействие войны на них и память о ней несколько не ослабевают — даже наоборот! Реакции массового сознания и сознания детей очень похожи. Трудно представить себе что-то более ребяческое, чем те концепции, которыми пичкают и приводят в движение массы. Да и подлинные идеи, чтобы стать историческими силами, способными двигать массы, требуют прежде всего упрощения до форм, доступных восприятию ребенка. Поэтому взгляды, вбивавшиеся в умы детей четырех следовавших один за другим школьных выпусков, через двадцать лет вполне способны превратиться в чертовски серьезное “мировоззрение”, управляющее большой политикой.

Война как большая, волнующе-увлекательная игра народов, доставляющая гораздо больше развлечений и эмоций, нежели все то, что может предложить человеку мирное время, — вот что заполняло повседневную жизнь школьных выпусков с 1914 по 1918 год и вот что стало потом психологическим “позитивом” нацизма. Вот откуда взялись его привлекательность, его простота, его безудержные фантазии и жажда деятельности — и вот откуда его нетерпимость и жестокость по отношению ко внутривнутриполитическим противникам: кто не хочет играть в нашу игру, тот не заслуживает даже быть “врагом”, он просто вонючка. И, наконец, оттуда же идет его “естественное” восприятие соседнего государства как военного противника: “сосед” — это неинтересно, значит, ты будешь “врагом”, иначе какая же это игра!

Потом, конечно, нацизм впитал в себя многое другое, и его сущность модифицировалась. Но корни есть корни, и кроются они не в солдатской “памяти о войне”, а именно в восприятии войны как игры тогдашними немецкими школьниками. Поколение солдат почти не дало настоящих нацистов, среди них гораздо больше “ворчунов да молчунов”, что вполне понятно, потому что тот, кто действительно прошел войну, вряд ли станет воспринимать ее так. (Исключения бывают, согласен: есть вечные вояки, для которых военная действительность со всеми ее ужасами — самая подходящая среда, и они ее ищут потом вновь и вновь, и есть вечные “неудачники”, которых эти ужасы и разруха только радуют; так они мстят жизни, в которой не сумели ничего добиться. К первому типу, видимо, принадлежит Геринг, ко второму определенно Гитлер.) Но в целом поколение нацистов — это те самые люди, которые родились в первом десятилетии века, с 1900 по 1910 год, и войны как таковой не видели, восприняв ее только как большую игру.

...Без всяких помех? Мне могут возразить, что люди все-таки голодали. Это правда; однако я уже говорил, что голод ничуть не мешал моей игре. Возможно, он даже способствовал ей. Сытые, хорошо питающиеся люди не склонны к фантазиям и иллюзиям... Но и нас, во всяком случае, голод от иллюзий не освободил. Мы к нему, так сказать, привыкли. После этого у нас даже остался своеобразный иммунитет к недоеданию — еще одна из характерных и, пожалуй, самых привлекательных черт этого поколения.

Мы рано приучились обходиться в еде минимумом. Большинству из ныне живущих немцев пришлось пройти школу недоедания трижды: первый раз в войну, второй раз во время сумасшедшей инфляции и третий раз сейчас, под лозунгом “пушки вместо масла”. Можно сказать, что в этом смысле мы люди закаленные и небалованные.

Поэтому я позволю себе усомниться в правоте расхожего утверждения, что немцы отказались продолжать мировую войну из-за голода. В 1918 году они голодали уже три года, и 1917 год был для них более голодным, чем 1918-й. Я думаю, что немцы прервали войну не потому, что изголодались, а потому что осознали свое военное поражение и дальнейшую бессмысленность этой войны. Как бы то ни было, немцы и теперь вряд ли откажутся из-за голода от нацизма или от Второй мировой войны. Они уверены, что голодание — это добродетель, и что плохого в нем уж во всяком случае ничего нет. За эти годы они стали народом, который прямо-таки стесняется своей естественной потребности в еде, и это парадоксальным образом помогло нацистам, так и не сумевшим накормить свой народ, превратить голод в средство, пусть косвенно, но все же служащее пропаганде режима.

Каждого “недовольного” они публично обвиняют в том, что он недоволен лишь из-за отсутствия сливочного масла и кофе. Недовольных сейчас в Германии и в самом деле хватает, но причины у их недовольства совсем иные и в большинстве случаев гораздо более весомые, — роптать по поводу плохого питания они бы не стали. О перебоях с продуктами в Германии вообще говорят гораздо меньше, чем можно подумать, читая нацистские листки. Недовольный немец скорее предпочтет промолчать, чем прослыть человеком, которого волнует одна жратва.

Мне, как я уже сказал, это представляется одной из самых привлекательных черт современных немцев.

За четыре года войны я постепенно утратил ощущение того, что такое мирное время и как оно выглядит. Мои воспоминания о

временах до войны постепенно поблекли. Я не мог представить себе дня без вестей с фронта. Такой день был бы лишен для меня всей своей прелести. Ну что еще, в самом деле, в нем могло быть интересного? Школа с письмом и арифметикой, потом с историей и латынью, игры с друзьями, прогулки с родителями — разве это жизнь? Смысл жизни и прелесть дня придавали очередные военные события; когда шло большое наступление с пятизначными цифрами пленных и “многочисленными трофеями в виде оружия и снаряжения”, это был праздник, открывавший бесконечный простор для фантазии, и жизнь была ключом, почти так же, как потом, когда мы влюблялись. Когда велись лишь скучные оборонительные бои или “планомерное стратегическое отступление”, тогда и жизнь казалась серой, “войнушки” с товарищами не доставляли никакой радости, а школьные задания были вдвое скучнее обычного.

Каждый день я ходил к полицейскому участку в двух кварталах от нашего дома: там на черной доске вывешивали сообщения с фронта, чуть не за сутки до того, как они попадали в газеты. Это был узенький белый листок, иногда длинный, иногда короткий, разукрашенный там и сям заглавными готическими буквами, явно позаимствованными из какого-то допотопного набора. Чтобы расшифровать их, мне приходилось вставать на цыпочки и запрокидывать голову. Но у меня хватало терпения и любопытства проделывать это каждый день.

Как уже говорилось, я толком не представлял себе, что такое мир, зато хорошо представлял себе нашу “окончательную победу”. Эта великая победа, в которую рано или поздно обязаны были сложиться все маленькие победы, упоминаемые в “Вестях с фронта”, была для меня примерно тем же, чем для правоверного христианина — грядущее наступление Страшного суда и воскресение умерших во плоти, или приход мессии для правоверного иудея. Она виделась многократно умноженным воплощением малых побед, бесследно вычеркивавшим все цифры взятых пленных, территорий и трофеев. Я ожидал этой окончательной победы с нетерпением и некоторым замиранием сердца, ведь она, так или иначе, была неизбежна. Неясно было лишь, что интересного останется у нас в жизни после нее.

Нашей окончательной победы я продолжал ждать в июле и даже еще в октябре 1918 года, хотя был не настолько глуп, чтобы не замечать все более мрачного тона сообщений с фронта и не понять, что надежд почти не осталось. Разве мы не разбили Россию? Разве “наши” не завоевали Украину, способную снабдить нас всем необходимым для победы? Разве мы, наконец, не заняли почти всю Францию?

И я, конечно, не мог не видеть, что взгляд на войну у очень, очень многих людей, да практически у всех, теперь совершенно изменился, хотя мой взгляд на нее несколько лет назад сложился именно из того, о чем думали и говорили все — я и приобрел его только потому, что он был тогда общепринятым! Какая досада, что именно сейчас война всем разонравилась, — сейчас, когда достаточно лишь небольшого усилия, чтобы вести с фронта сменили свой мрачный тон “неудавшихся контратак” и “планомерных отступлений на заранее подготовленные позиции” на сияющие летним солнцем доклады: “Прорыв в тыл противника на тридцать километров”, “Диспозиция войск противника полностью разрушена” и “Взято тридцать тысяч пленных!”

Стоя в очереди за искусственным медом и молоком — мать и служанка не успевали стоять во всех очередях, и мне иногда приходилось помогать им, — я слушал, как женщины ругают войну, не понимая ее высокого смысла. И слушал не всегда молча: время от времени я подавал свой еще детский голосок, чтобы объяснить им — “нам надо только продержаться еще немного”. Женщины в ответ на это сначала смеялись, потом удивлялись, а потом чаще всего умолкали в неуверенности или в печали. И я уходил победителем спора, самозабвенно помахивая бидоном порошкового молока... Однако вести с фронта не становились от этого отраднее.

А потом, начиная с октября, кругом заговорили о революции. Она надвигалась, как война, поражая внезапно возникающими новыми словами и понятиями, и, как война, наступила практически неожиданно. Однако этим параллель и исчерпывается. Война, что бы о ней ни говорили, была чем-то целостным, это было дело, которое имело шансы на успех, по крайней мере вначале. О революции же этого было сказать нельзя.

Большое значение для всей последующей германской истории имело то, что начало войны, несмотря на все несчастья, которые за ним последовали, осталось и сохранилось для всех в памяти хотя бы немногими днями незабываемого подъема и ощущения полноты жизни, тогда как революция 1918 года, принеся в конечном итоге мир и покой, оставила практически у всех немцев лишь самые печальные воспоминания. Уже одно то, что война начиналась в прекрасные солнечные дни, а революция — в дождливые ноябрьские холода, послужило в глазах людей не в пользу последней. Хоть это и примитивно звучит, но это правда. Позже республиканцы почувствовали это на себе: недаром они не любили напоминаний о девятом ноября и никогда широко его не отмечали. Нацисты, превознося август четырнадцатого и всячески

затирая ноябрь восемнадцатого года, играли наверняка. В ноябре 1918 года война уже кончилась, и женщины вновь обрели своих мужей, а те внезапно получили в подарок еще целую жизнь, однако ни у тех, ни у других не было ощущения радости, которое они могли бы связать с этой датой; они видели горе, разруху, страх, а слышали лишь стрельбу по ночам, чьи-то вопли да ноябрьский дождь за окном.

Лично для меня революция тоже ничего не изменила. В субботу я прочел в газете, что кайзер отрекся от престола. Меня удивило лишь, что этому событию было отведено так мало места, — заголовки, посвященные нашим военным победам, были в свое время гораздо крупнее. На самом деле кайзер тогда еще не совсем отрекся, хотя об этом уже написали все газеты. Официальное отречение последовало позже, но тогда оно уже никому не было интересно.

Большой шок, чем заголовок “Отречение кайзера”, вызвало внезапное переименование воскресного выпуска “Теглихе рундшау” в газету “Роте фане”. Там были какие-то революционеры-типографщики, которые этого добились. Содержание газеты от этого изменилось мало, да и новое заглавие уже через несколько дней уступило место старому. Вот небольшая, но значимая деталь революции 1918 года.

В то воскресенье я впервые услышал выстрелы. За всю войну я выстрелов не слышал ни разу. Теперь же, когда война уже кончилась, в Берлине начали стрелять. Открыв окна в одной из комнат, выходивших во двор, мы слышали далекие, но отчетливые пулеметные очереди. Мне было очень не по себе. Кто-то объяснял, чем отличается звук тяжелого и легкого пулемета. Звуки доносились со стороны дворца. Что это было — оборонялся берлинский гарнизон? Выходит, революция проходит не так уж гладко?

Если у меня в тот миг и зародились какие-либо надежды — а я тогда, что явствует из вышеизложенного, был всей душой против революции, — то уже на следующий же день мне пришлось с ними расстаться. То была всего лишь бессмысленная перестрелка между двумя революционными отрядами, каждому из которых хотелось первым занять район Марсталь. Революция, без сомнения, победила.

Ну и, с другой стороны, что она мне дала? Праздничную суету, кавардак, веселые приключения и анархию? Да ни чуточки. Более того, на следующее же утро самый вредный из наших учителей, злобный холерический тиран с вытаращенными глазками, объявил, что “здесь”, то есть в школе, никакой революции нет и не будет, а будет прежний порядок, в

доказательство чему и разложил на скамье двоих учеников, осмелившихся на перемене играть в революцию, чтобы демонстративно выдать им порцию розог. Все мы, кто присутствовал при этой экзекуции, восприняли ее как смутное, но однозначно недоброе предзнаменование. С этой революцией явно что-то было не так, если наутро после нее школьников за игру в нее запросто берут и секут. Нет, такая революция ни к чему хорошему не приведет. Да она и не привела.

Между тем война еще не была окончена. Мне, как и всем остальным, было ясно, что революция означала конец войны, однако это был конец без окончательной победы, потому что необходимого для нее небольшого усилия никто почему-то так и не предпринял. А жизнь после войны, не увенчавшейся окончательной победой, я представить себе не мог; мне надо было увидеть ее собственными глазами.

Поскольку вся война происходила где-то в далекой Франции, в нереальном мире, из которого до нас доходили лишь сообщения с фронта, как послания из потусторонних сфер, то и ее конец не ощущался мной как реальность. В моем непосредственном, чувственно воспринимаемом окружении не изменилось ровно ничего. Только в фантастическом мире моей игры, которой я жил четыре года, этот конец что-то означал... И, конечно, этот фантастический мир был для меня гораздо более значимым, чем реальный.

Девятого и десятого ноября еще вывешивали сообщения с фронта все в том же привычном стиле: “Отбита очередная попытка контрнаступления противника” и “После самоотверженных оборонительных боев наши войска отступили на заранее подготовленные позиции”... Одиннадцатого ноября на черной доске моего полицейского участка, куда я явился в свой урочный час, уже ничего не висело. Доска встретила меня безнадежной пустотой и чернотой, и я с ужасом представил себе, что будет, если мне всю оставшуюся жизнь придется вместо каждодневной подпитки новостями с фронта, которую я привык получать годами, день за днем видеть только пустую черную доску. Меня это не устраивало, и я решил искать дальше. Где-то же можно найти известия о том, что происходит на фронте. Если уж войну закончили (о чем вроде бы все говорят), то надо хотя бы дать финальный свисток или совершить еще что-то, достойное упоминания. Через пару улиц был еще один полицейский участок. Может быть, я узнаю что-нибудь там.

Однако и там ничего не висело. Полиция тоже заразилась революцией, и старого порядка никто больше не соблюдал. Но меня не устраивало и это. Я брел по улицам под мелким, мокрым

ноябрьским дождем в поисках хоть каких-нибудь новостей. И попал в район, который мне уже не был знаком.

И вот в одном месте я набрел на кучку людей, стоявших у киоска с газетами. Я потихоньку протиснулся через очередь, поднял глаза и прочел то, что молча и тоскливо читали все. Это был оттиск завтрашнего выпуска газеты, вывешенный на всеобщее обозрение, с аршинным заголовком: “Перемирие заключено”. Ниже перечислялись условия перемирия, длинный список. Я прочел и их. И читая, я все больше недоумевал.

С чем сравнить мои тогдашние ощущения? Ощущения одиннадцатилетнего мальчика, у которого раз и навсегда отняли мир его фантазий? Сколько ни думаю с тех пор и ни вспоминаю, не могу найти эквивалент такому потрясению из жизни взрослых. Бывают фантастические катастрофы, но они и случаются обычно только в мире фантазий. Или, допустим, пусть кто-то всю жизнь копил деньги в банке и однажды, запросив сведения о своем счете, вдруг узнал, что вместо накопленных тысяч за ним числится неизмеримый долг, — вот такое у меня было тогда ощущение. Нет, все это было абсолютно нереально.

Условия перемирия излагались уже не эзоповым языком военных сводок. Они вещали безжалостным языком поражения, тем самым безжалостным языком, который прежде употреблялся только для перечисления потерь противника. Как его вдруг оказалось возможно применить к “нашим”, причем не в каком-то частном случае, а в подведении окончательного итога наших многочисленных побед, — в моей голове это не укладывалось.

Я читал и перечитывал эти условия, привычно запрокинув голову, как всегда, четыре года подряд читая сообщения с фронта. Наконец я выбрался из толпы и побрел, сам не зная куда. Район, куда я забрел в поисках новостей, был мне почти совсем не знаком, а теперь меня занесло в еще менее знакомые места; я шел по улицам, которых никогда не видел прежде. Моросил мелкий ноябрьский дождь.

Мир стал для меня вдруг таким же чужим и незнакомым, как эти улицы. Оказалось, что у моей большой игры были не только увлекательные, хорошо известные мне правила, но и свои тайные законы, в которые меня никто и не думал посвящать. Выходит, я не просто заблуждался, а постоянно принимал мираж за реальность. Но тогда где же искать опору, поддержку, уверенность и веру, если все происходящее в этом мире — один обман, если бесчисленные победы в конце концов оборачиваются окончательным поражением, а истинных правил игры тебе нарочно не говорят, чтобы ты понял их, только когда проиграешь, упав так, что ниже некуда? Передо мной разверзалась бездна. Я

боялся жить дальше.

Не думаю, чтобы кто-либо на свете испытал от поражения немцев в той войне больший шок, чем маленький одиннадцатилетний мальчик, бредший по чужим улицам под мокрым осенним дождем, не зная, куда идет, и не замечая, что на нем не осталось уже ни одной сухой нитки. Но тем более я не могу поверить, что хотя бы вполтину настолько сильную боль испытал в тот же день ефрейтор Гитлер в госпитале города Пазевалька, услышавший по радио и от злости не дослушавший до конца перечень условий перемирия. Хотя реагировал он на это, конечно, гораздо более бурно: “Я больше не мог там оставаться, — писал он. — У меня все поплыло перед глазами, я ощупью добрался до палаты, бросился на койку и зарылся горячей головой в одеяло и подушки”. После этого он окончательно решил стать политиком.

Как ни странно, у него на все это проявилась такая же детски-упрямая реакция, как у меня. И дело тут не только во внешних проявлениях. Проще сравнить, чем полнились моя душа и душа Гитлера после пережитого поражения: гнев, ненависть, желание исправить наконец эту злосчастную политику, пересмотреть правила игры и страх перед непредсказуемостью дальнейшей жизни, — тогда все это было более чем естественно. Лишь теперь я, пожалуй, могу утверждать, что одиннадцатилетний мальчик в тот момент понял и осмыслил все много лучше, чем двадцатидевятилетний ефрейтор.

Во всяком случае, с того самого дня я стал подозревать, что мой гороскоп не сойдется с гороскопом гитлеровского рейха ни по каким показателям.

6

Но до гитлеровского рейха пока было далеко: на дворе все еще была революция 1918 года и Германская республика.

Революция оказала на меня и моих школьных товарищей воздействие прямо противоположное по сравнению с войной: если война, никак не затронув нашу скучную повседневную жизнь, открывала необычайный простор для фантазии, то революция, многое изменив именно в повседневной жизни — и эти перемены были, кстати, не так уж плохи, я о них потом расскажу, — ни для какой фантазии просто не оставляла места. Революция, в отличие от войны, не могла предложить ясной и простой схемы бытия, в которую легко вписывались бы все события. То и дело происходили какие-то кризисы, забастовки, перестрелки, путчи, демонстрации, неизвестно кому и зачем нужные. Нельзя было понять, кому чего надо. Так что поддерживать при всем желании было некого. Люди просто не

воспринимали друг друга.

Как теперь известно, германская революция 1918 года не была тщательно обдуманной и спланированной операцией. Она была всего лишь побочным продуктом военного поражения. Народ, — именно народ! — руководить которым было некому почти все это время, убедился в полной бездарности своих военных и политических вождей и изгнал их. Ибо все они, начиная с кайзера, при первой же угрозе предпочитали исчезнуть тихо и незаметно; точно так же тихо и незаметно, как потом, в 1932 1933 годах, исчезали вожди республики. Германские политики, причем все, от правого до левого фланга, так и не освоили искусство проигрывать.

Власть буквально валялась на улице. Среди тех, кто ее подбирал, настоящих революционеров было очень немного; да и те, если взглянуть в ретроспективе, не имели ясного представления, что и как собираются с нею делать (то, что практически всех их перестреляли самое позднее через полгода после революции, свидетельствует не столько даже об их невезучести, сколько именно о бездарности).

Большинство этих новых властителей были скромными приспособленцами, давно поседевшими и обустроившимися в уюте лояльной оппозиции, так что внезапно доставшаяся власть лишь пугала их, заставляя искать возможность сбыть ее с рук любым более или менее пристойным способом.

И, наконец, среди них было немало откровенных саботажников, хотевших “подоить”, а говоря проще — предать революцию. Жуткая фигура Носке — известнейший тому пример.

Так возникла новая игра, в которой, с одной стороны, участвовали революционеры, плохо организованные и подилетантски устраивавшие мелкие путчи, а с другой — опытные саботажники, сумевшие вызвать к жизни контрреволюцию в лице “добровольческих отрядов”, которые, взяв на себя функции правительственных войск, в считанные месяцы положили революции кровавый конец.

Но эта игра нас при всем нашем желании не вдохновляла. Мы были буржуазными мальчиками, которых к тому же внезапно лишили бурной военно-патриотической эйфории, длившейся четыре года, поэтому мы, естественно, были “против” любых красных революционеров — против Либкнехта, Розы Люксембург и “Союза Спартака”, о которых мы слышали лишь, что “они хотят у нас все отнять”, тем более что родители у многих были зажиточные, так что, возможно, красные их вообще убили бы и ввели у нас жуткие “русские” порядки. Нам, хочешь не хочешь, приходилось быть “за” Эберта и Носке и их “добровольцев”. Но

воодушевить нас эти фигуры, увы, тоже не могли. Тот спектакль, который они разыгрывали, был очевидно низок. Запашок предательства, от них исходивший, был слишком гадок. Его ощущали даже мы, десятилетние. (Еще раз повторяю, что политическая реакция детей всегда значима, особенно в исторической ретроспективе; если что-то уже “известно каждому ребенку”, то это, как правило, и есть самая окончательная и неопровержимая характеристика данного исторического процесса.) Было что-то неладное в том, как демонстративно эти воинственные и жестокие “добровольцы” — от которых мы в общем-то многого ждали и были не против, чтобы они вернули нам Гинденбурга и кайзера, — “защищали правительство”. Какое же? Эберта и Носке — которые для всех давно были предателями собственного дела, да и внешне, кстати, смотрелись соответственно.

Кроме того, события придвинулись к нам так близко, что мы уже не могли уяснить себе общую картину и понять их, как понимали прежде, когда они разыгрывались в далекой Франции и ежедневно растолковывались нам в сообщениях с фронта. Стрельбу мы теперь сами слышали почти каждый день, однако у нас не было никакой возможности узнать, что она означает.

Могло вдруг выключиться электричество, могли перестать ходить трамваи, однако оставалось неясно, в честь кого мы должны теперь жечь керосин или передвигаться пешком — в честь “спартаковцев” или правительства? На улицах раздавали листовки и вывешивали плакаты с грозными заголовками: “Час возмездия близок!”, но приходилось сначала преодолевать бесконечные абзацы, полные брани и непонятно кому адресованных обвинений, прежде чем мы узнавали, кто же такие в данном случае эти “изменники”, “убийцы рабочих”, “бессовестные демагоги” и т. п.: Эберт с Шейдеманом или Либкнехт с Эйхгорном. Демонстрации устраивались каждый день. Демонстранты тогда имели привычку отвечать на каждый выкрикнутый кем-то лозунг громогласным “ура” или “долой”. Уже на небольшом расстоянии можно было разобрать лишь эти тысячеустые “ура” и “долой”, голосов же, выкрикивавших ключевую фразу, издали расслышать нельзя было, так что все опять оставались в неведении, о чем речь.

Так продолжалось, с небольшими перерывами, добрых полгода; потом все постепенно начало затихать, ибо смысла в этом давно уже не было никакого. Судьба революции решилась окончательно — в то время я этого, конечно, еще не знал, — когда двадцать четвертого декабря рабочие и матросы, одержав победу в уличных боях перед дворцом, разошлись по домам

отмечать Рождество. После праздника они, правда, вновь вернулись на тропу войны, однако правительство успело стянуть туда все добровольческие отряды, находившиеся в пределах досягаемости. Две недели подряд в Берлине не было газет, а были лишь далекие и близкие выстрелы — да еще слухи. Потом газеты опять появились, правительство победило, а днем позже нам сообщили, что Карл Либкнехт и Роза Люксембург были застрелены при попытке к бегству. Насколько я знаю, это стало началом той практики “расстрела при попытке к бегству”, которая являлась обычной формой обращения с политическими противниками к востоку от Рейна. Но тогда она была еще настолько непривычной, что многие восприняли это сообщение буквально и поверили. Цивилизованные были времена!

Итак, судьба революции решилась, однако покоя так и не наступило; наоборот, самые тяжелые уличные бои начались в Берлине только в марте (в Мюнхене — в апреле), когда речь уже могла идти, так сказать, лишь о погребении трупа революции. В Берлине они начались, когда Носке со скупыми словами благодарности объявил об официальном роспуске самого первого отряда революции — “Народного военно-морского дивизиона”. А тот взял и не распустился, начал протестовать, к нему присоединились рабочие северо-восточных кварталов Берлина, и эти “обманутые демагогами массы”, не понимая, почему их собственное правительство натравливает на них теперь своих же врагов, целых восемь дней вели отчаянную, безнадежную и чрезвычайно ожесточенную борьбу. Исход этой борьбы был ясен с самого начала, и месть победителей была ужасна. Следует заметить, что тогда, в 1919 году, когда левая революция безуспешно пыталась обрести форму, позднейшая революция, нацистская, только без Гитлера, была уже практически подготовлена и достаточно сильна. Добровольческие отряды, которым Эберт и Носке были обязаны своим спасением, состояли из тех же самых лиц, и взгляды, привычки и способы ведения борьбы у них были совершенно те же, что у будущих штурмовых отрядов нацистов. Они уже изобрели “расстрел при попытке к бегству”, уже накопили немалый опыт пыточного искусства и уже позволяли себе широким жестом просто ставить к стенке своих политических противников, всех скопом и без лишних разговоров, если только те не были из числа знаменитостей, чем, в сущности, предварили события 30 июня 1934 года. Так что практика у них была, не хватало только теории. Ее-то и дал им потом Гитлер.

Вспоминая обо всем этом, я не могу не сказать, что и гитлерюгенд существовала тогда уже почти в готовом виде. У

себя в классе, например, мы организовали спортклуб “Старая Пруссия”, девизом которого было: “Долой “Союз Спартака”, ура спорту и политике!” Политика заключалась в том, что, идя в школу или из школы, мы временами поколачивали одиночек, ратовавших за революцию. В остальном же нашим главным занятием был спорт: мы устраивали соревнования по бегу во дворе школы или в общественных местах, ощущая себя при этом величайшими борцами против “Спартака”, считая себя доблестными патриотами и ставя рекорды во славу фатерланда. В чем тут отличие от будущей гитлерюгенд? Разве что в деталях, привнесенных потом в угоду личным склонностям Гитлера, как, например, антисемитизм. У нас еврейские мальчишки были такими же антиспартаковцами и патриотами, как все, а один стал даже чемпионом по бегу. Я могу поклясться, что с их стороны не было никаких попыток подорвать наше гражданское единство.

Во время мартовских боев 1919 года деятельность спортклуба “Старая Пруссия” оказалась вынужденно прерванной, потому что наши спортплощадки временно превратились в поля битвы. Эпицентр уличных боев пришелся как раз на наш район. В нашей школе разместились штаб-квартира правительственных войск, а в соседней “народной школе” — разве это не символично? — опорный пункт “красных”, и война за обладание обоими зданиями велась каждый день. Наш директор, который предпочел остаться в своей служебной квартире, был застрелен, фасад школы, когда мы вновь увидели его, пестрел дырами от пуль и снарядов, а под моей партой еще в течение многих недель после возобновления занятий расплывалось ничем не смываемое кровавое пятно. У нас то и дело случались незапланированные каникулы, длившиеся неделями, и именно тогда мы, так сказать, получили боевое крещение: каждый божий миг, когда только было возможно, мы сбегали из дома и бежали туда, где шли бои, чтобы “увидеть хоть что-нибудь”.

Увидеть нам удавалось немного — даже уличные бои уже подчинялись тогда современной тактике “безлюдного поля боя”. Зато много можно было услышать. Пулеметные очереди, обычная полевая артиллерия, а тем более винтовочные выстрелы быстро стали для нас привычными, и лишь звук минометов или тяжелых орудий вызывал какое-то волнение.

Это тоже был спорт: попасть на перекрытые улицы, пробираясь дворами, чердаками и подвалами, чтобы внезапно выйти наружу за спинами солдат заграждения, далеко за щитами “Стой! Не ходи дальше, будут стрелять”. В нас не стреляли. Нам ни разу никто ничего плохого не сделал.

Эти заграждения и в самом деле мало помогали, так что

обычная уличная жизнь часто смешивалась с боевыми действиями, причем самым гротескным образом. Я вспоминаю, как однажды в воскресенье, в одно из первых теплых воскресений года, толпы гуляющих и я вместе с ними шли по широкой аллее; все было очень мирно, даже выстрелов нигде не было слышно. Вдруг весь народ начал разбегаться вправо и влево, прячась по подъездам, и тут на улицу, гремя, выехали танки, где-то совсем близко раздались ужасные взрывы, застрекотали пулеметы, и через пять минут кругом был ад крошечный. Но вот танки проехали и уехали, пулеметный огонь смолк. Мы, мальчишки, первыми вылезли из подъездов и увидели странную картину: вся аллея будто вымерла, зато на тротуарах повсюду валялось битое стекло, где побольше, где поменьше: окна не выдержали близкой пальбы. Потом, поскольку больше ничего не происходило, на улицу начали выбираться гуляющие, и еще через несколько минут ее опять заполнили толпы народа, наслаждавшегося весенним солнцем, как будто ничего не случилось.

Все это выглядело до странности нереальным. Я, к примеру, так никогда и не узнал, кому и зачем понадобилась эта пальба. В газетах о ней ничего не писали. Зато писали, что в то же воскресенье, когда мы ходили гулять под весенним небом, в нескольких километрах от нас, в районе Лихтенберг, взбунтовалось несколько сотен (или даже тысяч — цифры приводились разные) арестованных рабочих, которых пришлось “усмирять” винтовочными залпами. Вот это нас напугало. Потому что было гораздо ближе и реальнее всего того, что в течение нескольких лет происходило в далекой от нас Франции.

Но поскольку за этим ничего не последовало и никто из нас не знал погибших лично, да и в газетах на следующий день говорилось уже о чем-то другом, эти страхи вскоре забылись. Жизнь шла своим чередом. Год продолжался, приближаясь к самой лучшей своей поре — лету. Занятия в школе пока что опять продолжались, и спортклуб “Старая Пруссия” тоже возобновил свою благородную патриотическую деятельность.

8

Республика, как это ни странно, продолжала существовать. Станным это выглядело потому, что, как ни верти, начиная с 1919 года защита республики целиком и полностью находилась в руках ее противников; все военизированные революционные организации были к тому времени уже разгромлены, их вожди убиты, бойцы рассеяны, и оружие носили лишь “добровольческие отряды” — те самые, которые, в сущности, и были самыми настоящими нацистами, только так не назывались. Почему они не свергли своих бездарных правителей уже тогда, почему не

провозгласили сразу третий рейх? Особых препятствий у них к этому не было бы.

Так почему же они этого не сделали? Почему они разочаровали столь многих, кто возлагал на них надежды, а это были далеко не только мы одни в нашем спортклубе “Старая Пруссия”?

Вероятно, по той же в высшей степени иррациональной причине, по какой рейхсвер разочаровал надежды тех, кто в первые годы третьего рейха мечтал, что регулярная армия однажды восстанет и положит конец той позорной дискредитации ее же собственных идеалов и целей, которую устроил ей Гитлер. У германских военных не нашлось для этого гражданского мужества.

Гражданское мужество, то есть готовность принимать собственные решения и нести за них ответственность, есть добродетель, для немцев вообще редкая, как заметил еще Бисмарк в одном из своих знаменитых высказываний. А уж когда немец надевает военную форму, эта добродетель просто улетучивается как дым. Никто не сомневается в мужестве германского солдата и офицера на поле боя, в его готовности выполнить приказ командира и расстрелять своих же сограждан и земляков, однако он делается пуглив, как заяц, когда ситуация вынуждает его выступить против этого командира. Одна мысль об этом тут же вызывает в его воображении жуткий образ расстрельного взвода, которая и парализует его окончательно. Нет, смерти как таковой он не боится; он боится лишь именно этого вида смерти, зато боится ужасно. Это обстоятельство делает для немецких военных любую попытку неповиновения или государственного переворота раз и навсегда невозможной — пускай правит кто хочет.

Единственный кажущийся очевидным пример обратного служит на самом деле лишь подтверждением моих слов. Я имею в виду Капповский путч 1920 года, попытку государственного переворота, предпринятую несколькими антиреспубликански настроенными политическими отщепенцами. Хотя им удалось привлечь на свою сторону офицеров-антиреспубликанцев всех целиком, а остальных — постольку-поскольку, хотя государственная администрация тут же сдала все свои позиции, не оказав ни малейшего сопротивления, хотя на стороне путчистов были такие значимые в военных кругах личности, как генерал Людендорф, — в итоге движущей силой путча отважилось стать лишь одно-единственное вооруженное соединение, так называемая бригада Эрхардта. Все остальные добровольцы “сохранили верность правительству” — и,

естественно, приложили потом все усилия, чтобы и этот путч крайне правых приписать проискам левых.

История эта печальна, и рассказать ее можно быстро. Когда бригада Эрхардта однажды в субботу утром промаршировала через Бранденбургские ворота, правительство немедленно бежало и укрылось в безопасном месте, успев призвать рабочих ко всеобщей забастовке.

Вольфганг Капп, предводитель путча, провозгласил “национальную республику” под черно-бело-красным флагом, рабочие бастовали, войска молча хранили верность, нового правительства не получилось, и пять дней спустя Капп заявил о своей отставке.

Правительство возвратилось и призвало рабочих вновь вернуться к работе. Но рабочие потребовали вознаграждения: выгнать хотя бы слишком очевидно скомпрометировавших себя министров, прежде всего этого подлеца Носке. На что правительство ответило вводом “хранивших верность” войск, которые устроили беспощадную кровавую резню в районах бунтовщиков, то есть прежде всего на западе Германии, где шла, в сущности, настоящая война.

Много лет спустя мне пришлось беседовать с бывшим “добровольцем”, во всем этом участвовавшим. Он не без сочувствия говорил о многочисленных жертвах, сотнями погибавших тогда в боях или “расстрелянных при попытке к бегству”. “Ведь это был цвет нашей рабочей молодежи”, — повторил он несколько раз задумчиво и печально. Видимо, это был пароль, под которым он хранил воспоминания в своей памяти. “Нет, это были славные ребята, по крайней мере, многие из них, — отдавал он должное своим жертвам. — Совсем не то что в Мюнхене, в девятнадцатом году: там были одни подонки, евреи и жулье, а их мне нисколько не жалко. Но в двадцатом, в Руре, вот это был цвет молодого рабочего класса. Некоторых из них я потом даже оплакивал, честное слово. Но они же не понимали ни черта, они не оставляли нам выбора, поэтому мы были вынуждены стрелять в них. Когда у нас появлялась возможность дать им шанс, мы подсказывали им на допросах: ну, тебя ведь обвели, обманули? Так они начинали кричать, что и сами понимают все лучше тебя, и долой убийц и предателей рабочего класса. И что было с ними делать? Приходилось расстреливать, а на расстрел водили, сами понимаете, не меньше чем десятками. Однажды в такой вечер, после всего этого, наш полковник признался, что до сих пор у него никогда не было так погано на душе. Вот я и говорю, что это был цвет нашей рабочей молодежи, и все они погибли тогда, в двадцатом году, в Руре”.

В то время, когда это происходило, я, естественно, ничего не знал. Это было в Рурской области, а у нас в Берлине все было далеко не так драматично, почти бескровно и почти цивилизованно. После безумной стрельбы 1919 года март 1920-го казался тихим и необычным. Необычным было то, что ничего не происходило и жизнь замерла. Очень странная революция. А теперь послушайте рассказ.

Случилось это в очередную субботу. Где-то около полудня в булочной начались разговоры, что “кайзер возвращается”. У нас в школе отменили вторую смену: не хватало угля, чтобы отапливать все школы, поэтому учеников двух школ обычно запикивали в одну, поделив на первую и вторую смены, и отменили как раз нашу, вторую, а погода стояла просто прекрасная, поэтому мы отправились на школьный двор играть в “красных и националов”, причем основная трудность состояла в том, что никто не хотел быть красным. Но все равно было весело, лишь действительность то и дело казалась нереальной; все происходило слишком внезапно, и вникать в подробности было некогда.

Подробностей мы в тот раз, кстати, так и не узнали, потому что уже вечером ни одна газета не вышла, а еще потом выяснилось, что в домах у нас опять нет света. На следующее утро, в первый раз за это время, отключили еще и воду. Писем тоже больше не доставляли. Не ходил транспорт. Все магазины закрылись. То есть, попросту говоря, не работало вообще ничего.

В нашем районе на некоторых перекрестках стояли еще старинные водяные колонки, не связанные с городской водопроводной сетью. Они переживали теперь свой звездный час: очереди к ним выстраивались человек по триста, все с ведрами и кувшинами, чтобы только заполучить свою порцию воды; ручку насоса качали посменно крепкие молодые мужчины. Потом осторожно брели по улицам с полными ведрами, чтобы только не расплескать драгоценную влагу.

А больше, как я уже говорил, не происходило ничего. Я бы даже сказал, меньше, чем ничего, потому что и того, что бывало обычно каждый день, теперь больше не было. Не было стрельбы, не было демонстраций, не было стихийных уличных собраний и споров. Ничего не было.

В понедельник опять отменили школу. Мы, конечно, в очередной раз обрадовались, но и нам уже стало неловко, потому что получалось все как-то не так. Наш учитель физкультуры, ярый “национал” (все учителя были “националами”, но физрук больше остальных), несколько раз повторил значительно: “Вот теперь заметно, что штурвал попал в другие руки”. Хотя заметно на

самом деле не было решительно ничего, да и сам он повторял это, только чтобы не расстраиваться оттого, что тоже ничего не сумел заметить.

После школы мы бегали на Унтер-ден-Линден, смутно подозревая, что в эти важные для фатерланда дни гражданин должен находиться именно там, а еще потому, что надеялись увидеть или узнать что-нибудь новенькое. Но ни увидеть, ни узнать ничего не удавалось. Ну, двое солдат скучали там у своего неизвестно зачем приведенного в полную боевую готовность пулемета. Нападать на них явно никто не собирался. Все вокруг выглядело по-воскресному, тихо и спокойно. Потому что шла всеобщая забастовка.

Еще через пару дней мы тоже откровенно заскучали. Смотреть на воду, льющуюся из насоса, что поначалу казалось верхом необычности, быстро приелось нам так же, как вечно неработающие туалеты, как отсутствие новостей и писем, как постоянная нехватка продуктов, как беспросветная тьма по вечерам и как вообще это нескончаемое воскресенье. Не было и ничего, способного воодушевить народ в противовес всему этому — ни войсковых парадов, ни призывов “К моему народу”, — ничего, вообще ничего (ах, если бы тогда было радио!). Лишь однажды на стене появилась надпись: “Заграница нам не поможет”. Так что и на это надеяться не стоило!

А потом внезапно объявили, что Капп подал в отставку. Подробностей опять же не сообщали, но, судя по возобновившимся перестрелкам, вернулось доброе старое правительство. Через некоторое время в водопроводных трубах что-то ожило и забулькало. Вскоре после этого нас опять призвали в школу. Там тоже все выглядело несколько подмокшим. А еще вскоре опять начали выходить газеты.

После Капповского путча у нас, у школьников, пропал всякий интерес к текущей политике. Все политические течения успели так или иначе опозориться, и она утратила для нас всякую привлекательность. Наша “Старая Пруссия” самораспустилась. Многие нашли себе другие интересы: одни принялись собирать марки, другие увлеклись фортепиано или театром. Лишь некоторые остались верны политике, и тут мне впервые бросилось в глаза, что это были, как правило, самые глупые, грубые и несимпатичные. Они быстро вступили в “правильные” организации, будь то Национал-германский югендферайн или Союз имени Бисмарка (гитлерюгенд, напоминаю, еще не существовала), и вскоре уже демонстрировали нам в школе кастеты, резиновые дубинки и даже “палки-убивалки”, хвастались своим участием в ночных акциях по расклейке или срыванию

плакатов и начали разговаривать на своем особом жаргоне, отличавшем их от прочих. Еще они стали вести себя не товарищески по отношению к нашим ребятам-евреям.

С одним из них мы сидели за одной партой и как-то раз, это было вскоре после Капповского путча, на очередном скучном уроке я увидел, что он все время чертит у себя в тетради какие-то странные фигуры. Пара ломаных линий, образующих неожиданный и очень приятный симметричный орнамент, похожий на коробочку. Я немедленно впал в искушение начертить такой же.

— Что это? — спросил я шепотом, потому что все-таки шел урок, хоть и скучный.

— Антисемитский значок, коротко шепнул он мне в ответ. Его носили на касках люди из отрядов Эрхардта. Он означает: “Евреи, убирайтесь вон”. Надо знать.

И продолжал бегло чертить дальше.

Так я впервые познакомился со свастикой. Это было единственное, что оставил после себя Капповский путч. Потом этот значок стал встречаться все чаще.

9

Лишь два года спустя политика вдруг вновь стала интересной, причем благодаря одному-единственному человеку: это был Вальтер Ратенау.

Ни до, ни после этого в Германской республике не было политика, который бы так воздействовал на воображение масс и молодежи. Штреземан и Брюнинг, дольше пробывшие у власти и в некотором смысле определившие два кратких периода истории, не обладали такой личностной магией. Сравнить с ним можно разве что Гитлера, да и то с одной оговоркой: последнему так задолго начали планомерно делать паблисити, что различить, где подлинное влияние личности, а где реклама, теперь уже практически невозможно.

Во времена Ратенау крупных личностей на политической сцене еще не было, а сам он и пальцем не шевельнул для того, чтобы на эту сцену попасть. Это самый яркий из пережитых мною примеров того необъяснимого случая, когда в жизни общества появляется “великий человек”: он неожиданно завоевывает любовь масс, несмотря на все препоны, люди начинают к нему прислушиваться и болеть за него, в обществе возникает возбуждение, скучное вдруг становится интересным, возникает ощущение “шанса, который никак нельзя упускать”, все душой и сердцем становятся на его сторону, создаются легенды, культ личности, любовь и ненависть достигают наивысших пределов. Это происходит стихийно и неудержимо, почти бессознательно.

Таково действие магнита на кучку железных опилок: они притягиваются к нему бессознательно, неудержимо, необъяснимо.

Ратенау стал сначала министром восстановления хозяйства, потом — иностранных дел, и тут все почувствовали, что политика опять началась. Когда он ездил на международные конференции, у нас вновь появлялось ощущение, что Германия представлена на политической арене. Когда он заключал какое-нибудь “Соглашение о поставках всего необходимого” с Лущером или подписывал “Договор о дружбе” с Чичериним — пускай никто, кроме редких знатоков, не понимал, что такое это “все необходимое” и что кроется за выкрутасами дипломатических формулировок договора с русскими, — и то и другое было главной темой бурных дискуссий возле продуктовых магазинов и газетных киосков, а мы, ученики средней школы, раздавали друг другу пощечины, если один называл эти договоры “гениальными”, а другие считали их “еврейской изменой родине”.

И дело было не только в политике. Фотографии Ратенау, как и фотографии любых политиков, печатались в газетах, но если лиц последних невозможно было запомнить, то взгляд Ратенау навсегда запечатлевался в памяти у каждого: внимательные темные глаза, полные мудрости и печали. Читая его речи, все чувствовали, что, независимо от содержания, в них звучит глубокий подтекст обличения, требовательности и призыва речь пророка. Многие стали искать и читать его книги (и я в том числе): в них тоже звучали сдержанные по форме, но глубокие по смыслу призывы, стремление успокоить и в то же время убедить, требовательность и надежда. И в то же время — именно в этом заключался их магнетизм. Они были отрезвлением и в то же время фантастикой, лишали иллюзий и в то же время звали в бой, они были полны скепсиса и в то же время веры. Самые смелые мысли выражались в них самым спокойным и нейтральным стилем.

Как ни странно, до сих пор не нашлось биографа, который написал бы о Ратенау так, как этот человек того заслуживает. Его, без сомнения, следует включить в число пяти-шести великих людей века. Он был революционером из аристократов, экономистом из идеалистов, патриотом Германии из евреев, гражданином мира из германских патриотов, а из граждан мира — самым что ни на есть хилиастом и в то же время слугой Закона (еврей, что и говорить, но только в этом отношении). Он был достаточно образован, чтобы возвыситься над своим образованием, потому что был богат; он был достаточно богат, чтобы возвыситься над своим богатством, потому что был

гражданином мира; он был достаточно гражданином мира, чтобы возвыситься над суетой этого мира. Было нетрудно представить его себе не только министром иностранных дел Германии, заступившим на пост в 1922 году, но и, например, немецким философом 1800 года, главой международной финансовой империи 1850 года, да хоть мудрым раввином или отшельником. Он соединял в себе несоединимое, причем самым опасным и рискованным образом, всякий раз делая то, что именно и возможно было сделать только здесь и сейчас. И весь этот синтез культур и мировоззрений стал для него не пищей для ума и не поводом для действий, нет: он создал его личность.

И что, неужели вождь масс должен быть таким? — спросят многие. Ответить на это, как ни странно, можно только одно: да. Массы — я имею в виду не пролетариат, а то самое анонимно-коллективное сознание, к которому принадлежим мы все, хоть высоко- или низкородные, в определенные моменты истории, — так вот, массы сильнее всего реагируют на того, кто меньше всего похож на них самих. Обычный человек, снабженный всеми необходимыми добродетелями, может стать популярным; однако снискать всеобщую любовь или всеобщую ненависть может лишь необычная, абсолютно непривычная для масс личность, будь он хоть с самых верхов, хоть из низов. Если у них что-то вообще способно вызвать такие чувства, о чем я могу судить лишь по моему немецкому опыту. Ратенау и Гитлер были именно такими раздражителями, которые сумели не только взволновать массы, но и заставить их действовать; первый за счет всеобъемлющей высоты своего духа, второй за счет не менее всеобъемлющей низости. Оба, и это самое главное, вырвались внезапно из какой-то глухой провинции, и каждый из них был “человеком ниоткуда”. Однако один был носителем высокой духовности, возникшей благодаря слиянию культур трех тысячелетий и двух континентов, а другой вышел из непроходимых джунглей наследственного бескультурья, с того самого мещанского “дна”, где ценится всякое дерьмо вроде неприличных книжек, подглядывания за соседями, мест в приютах для бездомных, подпольных аборт и драк за лучшие места в наблюдении за очередной смертной казнью. Оба, каждый из своего “ниоткуда”, несли в себе эту волшебную силу, и содержание их политики было тут совершенно ни при чем.

Сейчас уже трудно сказать, к чему политика Ратенау могла бы привести Германию и всю Европу, если бы ему хватило времени. Но, как известно, времени ему для этого отпущено не было: через полгода после вступления в должность его убили.

Я уже говорил, что Ратенау вызывал у людей либо страстную

любовь, либо страстную ненависть. Эта ненависть была дикой, иррациональной, она даже не подлежала обсуждению; такой первобытной ненависти удостоился потом опять-таки лишь один-единственный немецкий политик: Гитлер. Понятно, что Ратенау и Гитлера ненавидели разные люди, отличавшиеся друг от друга соответственно, так же как сами эти политики. “Свинью пора резать” — так выражались противники Ратенау. И все же никто не ожидал, что однажды вечерние газеты выйдут с таким простым и даже скучным заголовком: “Убит министр Ратенау”. Читая это, люди испытывали чувство, как будто почва уходит у них из под ног, и это чувство еще усиливалось, когда они узнавали, насколько легко, без труда, даже как-то обыденно было совершено это убийство.

Ратенау каждое утро в определенное время выезжал в открытой автомашине из своего дома в Груневальде и ехал на Вильгельмштрассе. И вот в одно такое утро на тихой Вильгельмштрассе его поджидало другое авто, которое двинулось вслед за автомашиной министра, обогнало ее, и в момент обгона его пассажиры, трое молодых людей, с самого близкого расстояния разрядили свои револьверы в голову и в грудь жертвы. И на полном газу унеслись прочь. (Ныне на этом месте установлен памятный знак.)

Вот как все оказалось просто. Прямо-таки колумбово яйцо. И произошло это у нас, в берлинском районе Груневальд, а не где-нибудь в Каракасе или Монтевидео. Можно съездить и посмотреть: самая обычная улица в городском предместье. Убийцами, как скоро стало известно, были такие же мальчики, как мы, из них один старшеклассник. Выходит, что ими могли стать любые из тех моих одноклассников, которые еще вчера повторяли: “...пора резать”? Наглая выходка удалась так легко, что наряду с болью, гневом и возмущением она вызывала и нечто вроде нервного смеха: конечно, ведь это было настолько просто, что именно поэтому до сих пор и не приходило никому в голову. Значит, и историю можно теперь делать с такой же жуткой — именно жуткой — легкостью? Нет, будущее явно не за этими Ратенау, тратящими столько нервов, чтобы стать исключительными личностями, а за простыми парнями, как эти Техоу и Фишер, которым достаточно оказалось всего лишь научиться водить машину да стрелять.

Впрочем, это чувство быстро отступало под наплывом огромного, непомерного ощущения горя, смешанного с яростью. Даже расстрел тысячи рабочих в Лихтенберге в 1919 году не возмутил массы так, как это убийство одного человека, который к тому же был капиталистом. Магия его личности продолжала

действовать и через несколько дней после убийства; в течение этих дней в воздухе носилось нечто такое, чего я никогда потом больше не переживал, — революционное настроение. На похороны без всякого принуждения и угроз пришло несколько сот тысяч человек. Они и после похорон не разбрелись кто куда, а в течение нескольких часов шагали по улицам нескончаемыми колоннами — молча, горестно, грозно. Чувствовалось, что если бы в тот день их призвали покончить с теми, кого тогда еще называли “реакционерами”, хотя в действительности это были уже самые настоящие нацисты, то они бы сделали это с охотой, быстро и основательно вычистив все до конца.

Но их никто к этому не призвал. Их все время призывали лишь сохранять дисциплину и порядок. Правительство в течение нескольких недель обсуждало “Закон о защите республики”, предусматривавший смехотворные сроки заключения за “оскорбление министра” и вскоре бесславно забытый. Еще через пару месяцев оно уныло и беззвучно рухнуло, уступив место правительству правых.

Это последнее ощущение, которое оставила после себя краткая эпоха Ратенау, было уже знакомо нам по 1918 1919 году: за что левые ни возьмутся, все провалят.

10

Наступил новый, 1923 год. Возможно, именно этот безумный год наложил на нас тот неизгладимый отпечаток, который до сих пор воспринимается всем остальным человечеством как признак непредсказуемости и дикости немцев, хотя исконному “немецкому характеру” на самом деле были и остаются чужды как циничные фантасмагории, так и нигилистические ликования по поводу возможных катастроф. Или вошедший тогда в моду “динамизм”, тут же сделавшийся для всех самоцелью. Целому поколению немецкой молодежи как будто удалили некий орган души, причем именно тот, который придает человеку уверенность, равновесие, пусть даже приземленность, однако в то же время позволяет ему ощущать, что такое совесть, разум, опыт, верность идеалам, мораль или страх божий. Целое поколение решило для себя тогда — или уверовало, — что может обойтись без прошлого. Тем более что несколько лет до этого и не могли стать для него ничем иным, кроме как хорошей школой нигилизма. В 1923 году ученики этой школы получили путевку в жизнь.

Ни один народ не испытал того, что испытали в 1923 году немцы. Мировую войну помнят все, многие помнят революцию, кризисы, забастовки, перераспределение благ, обмен денег. Однако никому не довелось пережить такого чудовищного, даже

нелепого обвала, который достался тогда на долю немцев. Никто никогда не видел подобного всенародно-карнавального вертепа, когда не только деньги, но и вообще все ценности превращаются в ничто. 1923 год сделал Германию легкой добычей не только для нацизма, но и для любой, самой немыслимой авантюры. Психологические и политические корни нацизма уходят далеко в глубь истории, мы в этом сейчас уже убедились. Однако в том году сложились его самые безумные черты: холодная злоба, дикорастущий беспредел, “закон — это то, что полезно нам” и “для нас нет ничего невозможного”. Меня охватывает дрожь при одной мысли, что после новой войны, может быть, всей Европе предстоит пережить такой же 1923 год, если не найдется хотя бы нескольких умных людей, чтобы вовремя договориться о мире.

Начало нового, 1923 года ознаменовалось новой волной патриотизма, почти как в 1914 году. Пуанкаре захватил Рурскую область, правительство призвало людей к пассивному сопротивлению, а немецкое население все больше ощущало себя оскорбленным и униженным — наверное, даже сильнее, чем в 1914 году, потому что с тех пор у него накопилось еще больше лишений и разочарований. О, конечно, “народ восстал”, проявил душевную стойкость и готовность; вот только к чему? К очередной жертве? К войне? Было неясно. На самом деле от народа никто ничего не ждал. Да и “Рурская война” не была настоящей войной. В армию никого не призывали. “Вестей с фронта” тоже не было. Так и не обретя конкретной цели, воинственный пыл народа угас сам по себе. Хотя на улицах каждый день собирались люди, чтобы хором декламировать “Клятву Родине” из Шиллерова “Вильгельма Телля”.

Постепенно все это стало выглядеть смешным, если не сказать неприличным, потому что это был спектакль без публики. За пределами Рурской области не происходило вообще ничего. В самой Рурской области продолжалась своего рода оплачиваемая забастовка. Выплачивались не только зарплаты рабочим, но и дивиденды их хозяевам, причем очень неплохие, о чем стало известно лишь потом. Что же это было: проявление любви к Отечеству или всего лишь желание вернуть свои деньги, и к тому же с прибылью? Прошло еще несколько месяцев, и “Рурская война”, столь многообещающе начавшаяся клятвой Вильгельма Телля, стала явственно пахнуть коррупцией. Но теперь она никого больше не волновала. Что будет с Руром — какая разница, если у тебя самого в доме творится черт знает что.

Читатели газет в том году могли вспомнить свою старую игру в числа, как во время войны, когда заголовки пестрели сногшибательными цифрами взятых в плен солдат противника и

отнятого у него добра. Однако на этот раз цифры отражали не военные подвиги, хотя год и начался довольно воинственно, а события на бирже, в обычное время не богатые сюрпризами, точнее — биржевой курс доллара. Начавшиеся колебания курса стали барометром, на который глядели со смесью страха и возбуждения, ожидая со дня на день обесценивания марки. Тут было на что посмотреть. Чем больше рос доллар, тем безудержнее становились фантазии.

Собственно, в обесценивании марки не было ничего нового. Моя первая сигарета, которую я тайком выкурил в 1920 году, уже тогда стоила 50 пфеннигов. К концу 1922 года цены на сигареты возросли в десять, а то и в сто раз по сравнению с довоенным уровнем, а за 1 доллар давали около 500 марок. Но это происходило постепенно : зарплата, гонорары и цены росли примерно с одной скоростью. Было неудобно считать в больших числах, но необычного в этом ничего не было. Люди говорили о “повышении цен”, как о чем-то, что волнует их меньше прочих проблем.

И вдруг марка спятила. Уже вскоре после Рурской войны доллар подпрыгнул до двадцати тысяч, задержался немного, потом достиг сорока тысяч, опять задержался, а потом с небольшими паузами, рывками, повел счет на десятки и сотни тысяч. Никто не мог объяснить, как это произошло. Мы, протирая глаза, следили за происходящим, как за каким-то природным катаклизмом. Все только и говорили, что о долларе, а потом как-то так случилось, что он полностью разрушил нашу привычную жизнь.

Те, у кого был счет в сберкассе, ипотека или просто деньги в записке, в один момент просто лишились всего. Почти сразу исчезла разница между теми, кто откладывал последний грош себе на похороны, и теми, кто владел громадными состояниями. Все было аннулировано. Многие пытались перевести свои деньги в другие банки или в другие формы, просто чтобы посмотреть, что получится. Не получилось ничего: все, у кого было хоть что-то, лишились всего и были вынуждены направить свои мысли в другом, теперь уже самоспасательном направлении.

Стоимость жизни возростала такими же скачками, потому что торговцы следовали за долларом по пятам. Полкило картошки, еще вчера стоившее пятьдесят тысяч марок, сегодня уже стоило сто тысяч; а зарплата в шестьдесят пять тысяч марок, принесенная человеком домой в пятницу, во вторник могла уйти вся на покупку блока сигарет.

Что было делать? И тут люди открыли новый островок безопасности: акции. Это была единственная форма вложений,

которая хоть как-то сопротивлялась обвалу. Не всегда регулярно и не всегда в достойных суммах, однако акционерные компании платили. Каждый чиновник, каждый сотрудник, каждый чернорабочий сделались акционерами. Чтобы купить себе поесть, им достаточно было продать свои акции. В дни выплат они осаждали банки, и стоимость акций взлетала под небеса. Банки лопались от денег. Новые, никому ранее не известные банки появлялись, как грибы из-под земли, и получали фантастические дивиденды. Биржевые отчеты ежедневно читала вся страна. Иногда некоторые акции падали, и вместе с ними тысячи людей падали на социальное дно. В конторах, на фабриках, даже в школах шепотом обсуждались биржевые новости.

Хуже всего пришлось старикам и людям не от мира сего. Многие шли нищенствовать, многие кончали с собой. Молодым и бойким жилось неплохо. В считанные часы они становились свободными, богатыми, независимыми. Ситуация была такова, что инерция мышления и надежды на прошлый опыт карались голодом и гибелью, а импульсивность и быстрая реакция на перемены вознаграждались внезапным чудовищным богатством. Человек мог стать директором банка в двадцать один год, школьник мог играть на бирже, пользуясь советами своих чуть более старших товарищей. Они носили галстуки а-ля Оскар Уайльд, устраивали банкеты с шампанским и содержали своих вдруг быстро помирившихся отцов.

Среди горя, отчаяния и нищеты процветала бурная, горячая молодость, царили жажда наслаждений и атмосфера всеобщего карнавала. Наконец-то деньги были теперь у молодых, а не у стариков; да и сам характер денег изменился настолько, что они могли лишиться своей ценности в течение нескольких часов, поэтому их тратили, не считая, как никогда прежде или после, и совсем не на то, на что их тратили старики.

Внезапно появилось множество баров и ночных клубов. Юные парочки толпились в кварталах развлечений, как в фильмах из жизни высших десяти тысяч. Повсюду все, торопясь насладиться, были заняты любовью. Даже любовь подверглась инфляции. Было самое время ловить шансы, и массы вынуждены были новым богачам эти шансы предоставлять.

Был открыт “новый реализм” любви. Это был всплеск беззаботной, веселой, быстрой и легкой жизни. Неудивительно, что романы тоже развивались быстро и без особых прелиминариев. Молодые люди, учившиеся любви в те дни, миновав стадию романтики, попадали прямо в объятия цинизма. У нас и у моих сверстников было все-таки не так. Нам тогда было лет по пятнадцать-шестнадцать, и мы отставали года на два, на

три. Через несколько лет, вступая в роль любовников с жалкими двадцатью марками в кармане, мы с завистью вспоминали старших, успевших поймать свой шанс. Нам тогда удалось лишь заглянуть в замочную скважину, но и этого было достаточно, чтобы уловить и навсегда запечатлеть в памяти дух времени. Редкая удача — попасть на вечеринку старших, где наверняка будут происходить безумства, незрелый разгул до изнеможения и легкое похмелье наутро от перебора коктейлей; сказочные приключения старших, лица которых были потом отмечены следами вчерашней ночи; неожиданный, возбуждающий поцелуй ярко накрашенной дивы...

Была у этой картины и изнанка. Нищих вдруг расплодилось великое множество; количество сообщений о самоубийствах в газетах также сильно возросло, а полицейскими объявлениями о розыске “взломщиков, не оставивших явных следов”, пестрели все афишные тумбы, ибо воровство и грабежи случались везде и всюду в самых крупных размерах. Однажды я увидел старую женщину, — возможно, я должен был бы сказать “даму”, — как-то странно сидевшую на скамейке в парке. Вокруг нее собралась маленькая толпа. “Умерла”, — сказал один. “От голода”, — добавил другой. Я даже не особенно удивился. Мы дома тоже частенько голодали.

Да, мой отец был одним из тех, кто не понял или не желал понимать этого времени, как прежде не желал понимать войну. Следуя правилу “прусский чиновник не может быть спекулянтом”, он не покупал акций. Тогда мне это казалось упрямством, совсем не подходящим ему как личности, потому что он был одним из умнейших людей, которых я знал. Сейчас я его понимаю. Сейчас, глядя в прошлое, я могу в какой-то мере даже ощутить то отвращение, с которым он воспринимал всю эту “беспардонность” и ту свою к ней нетерпимость, которую он скрывал за банальными фразами вроде: “Не может быть того, чего быть не должно”. К сожалению, практическую свою реализацию эти высокие принципы обретали лишь в анекдотах. А анекдоты могли запросто обернуться трагедией, если бы моя мать вовремя не приспособилась к новой ситуации по-своему.

Вот так и складывалась наша жизнь, жизнь семьи высокопоставленного прусского чиновника. Тридцать первого или первого числа каждого месяца отец получал жалованье, на которое мы и жили — вклады и счета в банке давно обесценились. Чего стоило его жалованье, понять было трудно, каждый месяц оно было разным; один раз сто миллионов означали большие деньги, другой раз и полумиллиарда хватало лишь на мороженое. Во всяком случае, отец старался покупать

проездной на метро сразу, чтобы по крайней мере весь следующий месяц ездить на работу и домой бесплатно, хотя путь на метро был неудобен и отнимал много времени. Второе, что отец делал сразу после получки, была оплата счетов за квартиру и нашу учебу, а потом мы всей семьей ходили к парикмахеру. Все, что после этого оставалось от получки, отдавалось матери, и на следующий день все, включая кухарку (но, естественно, исключая отца), вставали в четыре или пять часов утра и ехали в такси на рынок. Там закупалось все, что только возможно, и месячное жалованье старшего советника по правительственным делам полностью уходило на приобретение наименее скоропортящихся продуктов. Огромные сыры, целые свиные ноги, картошка пудами — все это грузилось опять-таки в такси. Если не помещалось, кухарка с нашей помощью нанимала мальчика с тележкой. Часам к восьми утра, то есть еще до школы, мы возвращались домой, зная, что запаслись провиантом по крайней мере на месяц. Но это было и все, то есть денег на что-либо еще уже не оставалось. Теперь целый месяц денег ждать было неоткуда. Иногда откуда-то приходили запоздалые гонорары или проценты, но чаще мы весь месяц голодали, как церковные крысы, не имея даже мелочи, чтобы проехать на трамвае или купить газету. Не знаю, что бы стало с нашей семьей, если бы в ней случилось несчастье — кто-то бы тяжело заболел или еще что похуже.

Для моих родителей то время, наверное, было жестоким и трудным. Для меня же оно было скорее необычным, чем враждебным. То, что моему отцу приходилось ездить на работу сложным и кружным путем, означало, что его не было дома целый день, а у меня была масса абсолютно свободного и никому не подконтрольного времени. Карманных денег мне давно уже не выдавали, но у меня были старшие приятели, богатые в самом прямом и полном смысле слова, и напроситься к ним на одну из их безумных вечеринок было нетрудно, ибо стоило это им немного. Мне удалось выработать определенное равнодушие как к нищете у нас в доме, так и к богатству приятелей. Я не страдал от первого и не завидовал второму, а просто находил все это необычным и, следовательно, интересным. Суть в том, что в реальной жизни того времени, сколь бы она ни казалась увлекательной, участвовала лишь небольшая часть моего “я”. Гораздо сильнее увлекал меня мир книг, в которые я погружался: там-то главное мое “я” и пребывало. Я читал “Будденброков”, “Тонию Крёгера”, “Нильса Лина” и “Мальте Лауридса Бригге”, стихи Верлена, раннего Рильке, Георге и Гофманшталя, “Дориана Грея” Уайльда, “Флейты и кинжалы” Генриха Манна...

И был во многом похож на героев этих книг — уставших от

светской жизни декадентов эпохи fin-de-siecle, вечных искателей красоты. Неуклюжим, диковатым шестнадцатилетним подростком, давно выросшим из своих костюмов и срочно нуждавшимся в стрижке, я бродил по лихорадящим, чумным улицам пораженного инфляцией Берлина с видом и ощущением манновского патриция или уайльдовского денди. И ощущения эти ничуть не ослабевали от того, что тем же утром я в очередной раз вместе с горничной грузил на тележку круги сыра и мешки с картошкой.

И потом, разве у меня для таких ощущений не было оснований? Неужели они появились только от чтения книг? Конечно, в шестнадцать лет, особенно между осенью и весной, все впадают в усталость от жизни, скуку и меланхолию, но разве мы, я и мои сверстники, если уж судить объективно, не повидали достаточно, чтобы начать смотреть на жизнь с надменным, слегка насмешливым и усталым разочарованием, находя в себе черты того же Томаса Будденброка или Тонио Крёгера?

Мы повидали великую игру, называвшуюся войной, и испытали шок замирения; мы видели революцию, лишившую нас последних иллюзий, а потому ставшую важнейшим политическим уроком, позднее попали в ежедневный цирк, где все прежние правила жизни были втоптаны в пыль, а возраст и опыт осмеяны. Мы успели уверовать и разувериться в целом ряде противоречивых учений. Сначала мы были пацифистами, потом националистами, потом нас увлек марксизм (революция, имеющая слишком много общего с сексуальной: ни то ни другое учение официально не признаны, оба любят использовать для обучения шоковый метод, и оба делают одну и ту же ошибку: они выделяют и объявляют главной одну-единственную часть общественного сознания, пусть важную, но в данном конкретном обществе не принятую и большинством игнорируемую, — свободную любовь в одном случае и исторический материализм в другом). Ратенау и его смерть напомнили нам, что и самые великие люди смертны; Рурская война показала, что разницы между самыми благородными и самыми низменными побуждениями нет никакой, если говорить о результатах. Где же было найти что-то еще, что могло бы воодушевить нас? (Потому что для молодежи главное, чтобы было чем воодушевиться.) Нам не досталось ничего, кроме поисков идеальной, не подверженной времени красоты, о которой так вдохновенно писали в своих стихах Георге и Гофмансталь, кроме все того же безвыходного, юношески-наглого скептицизма и, конечно, любовных мечтаний.

У меня тогда не было девушки, которая пробудила бы во мне любовь, но зато был юноша, разделявший мои идеалы и

литературные вкусы. У нас была необычная, как сказали бы теперь, патологическая дружба, с мечтаниями, смущением и страстями, какие могут существовать только у подростков и только до тех пор, пока в жизнь одного из них по-настоящему не войдет девушка. Тогда эта способность быстро увядает. После уроков мы часами бродили по улицам, поглядывая на вывески долларowego курса, обменивались несколькими снисходительными словами и мыслями о политическом положении, а потом говорили о прочитанных книгах. Мы договорились, что, выходя на очередную прогулку, будем обсуждать каждый раз новую книгу, и нам это удавалось. Так, полные робкого возбуждения, мы осторожно проникали в душу один другого. А вокруг нас в это время всех лихорадило, общество распадалось на части прямо на глазах, германский рейх лежал в обломках, — однако все это служило лишь фоном для наших глубокомысленных диспутов, скажем, о сущности гения и о том, совместима ли гениальность с моральной неустойчивостью и декадентством.

Да, фон был прекрасный: непредсказуемый и незабываемый.

В августе доллар достиг миллиона. Мы прочли об этом с легким изумлением, как будто речь шла о каком-нибудь невероятном спортивном рекорде. Через две недели такие сообщения воспринимались уже со смехом, потому что доллар, будто набравшись на миллионном рубеже новых сил, удесятирил темп и, преодолев один за другим сотенномиллионные барьеры, повел счет на миллиарды. В сентябре миллион уже ничего не стоил, расчетной единицей стал миллиард. В конце октября это был уже биллион. Между тем случилось ужасное: Рейхсбанк прекратил печатать новые деньги. Банкноты устаревали, не успев дойти до окошек касс: 10 миллионов, 100 миллионов — это теперь сколько? Доллар и цены ушли далеко вперед. Не было ничего, что можно было бы использовать в качестве денег для практических расчетов. Торговля на несколько дней замерла, и в бедных кварталах люди, лишенные каких-либо средств платежа, воспользовались собственными кулаками и начали грабить лавки колониальных товаров. Настроение вновь стало революционным.

В середине августа под гром уличных беспорядков пало правительство. Еще некоторое время спустя мы проиграли Рурскую войну. Всем было просто не до нее. Кажется, давно ли мы клялись быть единым народом с братьями в оккупированном Руре? Теперь мы ожидали гибели Германии, раскола рейха, вообще любой политической катастрофы, сопоставимой с ужасами нашей личной жизни. Слухов ходило великое множество: отделился Рейнланд, отделилась Бавария, вернулся

кайзер, вошли французские войска. Политические “союзы”, как левые, так и правые, не шевелившиеся годами, вдруг развили бурную деятельность. Они проводили учения в лесах под Берлином; просачивались слухи о некоем “черном рейхсвере”, и очень много говорилось о “дне Д”.

Отличить правду от вымысла было трудно. На Рейне действительно возникла какая-то республика, продержавшаяся несколько дней. В Саксонии чуть ли не месяц существовало коммунистическое правительство, пока правительство рейха не направило туда войска. И, наконец, в один прекрасный день газеты объявили, что кюстринский гарнизон двинулся в поход на Берлин.

В это же время распространился лозунг: “Предателей должен судить феме!” К полицейским объявлениям о розыске воров на афишных тумбах присоединились объявления о розыске убийц и без вести пропавших. Люди исчезали десятками. Почти все они были связаны с тем или иным союзом. Спустя годы их скелеты обнаруживались в лесах или близ лесов под Берлином. В союзах стало правилом расправляться с ненадежными или подозрительными членами без лишней мороки и закапывать их где-нибудь неподалеку.

Слухи о подобных убийствах уже не казались невероятными, как в обычные, цивилизованные времена. Настроение постепенно становилось апокалиптическим. В Берлине сотнями начали появляться “спасители” длинноволосые люди во власяницах, объявлявшие себя посланниками Бога, призванными спасти мир, для выполнения каковой миссии им тоже надо на что-то жить. Самым популярным из них был некий Хойсер, заклеивавший своими плакатами афишные тумбы и устраивавший массовые радения. Поклонников у него было очень много. В Мюнхене у него объявился конкурент, судя по газетам, некий Гитлер, речи которого, в отличие от первого, носили отнюдь не возвышенный характер; они были непревзойденны по количеству самых жутких угроз и по своей неприкрытой жестокости. Гитлер собирался строить свой Тысячелетний рейх на костях евреев, для чего требовал их всех перебить, а некий Ламберти в Тюрингии намеревался достичь того же, заставив граждан петь, исполнять народные танцы и прыгать с парашютом. У каждого спасителя был свой стиль. Никто уже ничему не удивлялся: времена удивления давно прошли.

Мюнхенский Хойсер, то бишь Гитлер, в ноябре целых два дня не сходил со страниц газет, трезвонивших о его непостижимой попытке устроить революцию в пивном погребке. На самом деле вооруженная до зубов полиция разогнала революционеров сразу

же после его ухода из погребка, чем вся революция и закончилась. Однако люди еще целые сутки думали, что это долгожданная революция и есть. Узнав эту новость, обрадованный учитель греческого не без прозорливости предсказал нам, что через несколько лет все снова станут солдатами. Разве тот факт, что подобная авантюра вообще оказалась возможной, не стократ интереснее ее неудачи? Шансы у спасителей явно были. Тогда все было возможно. Доллар стоил биллион. А до рая вообще было подать рукой.

И тут произошло нечто странное. Вдруг распространился фантастический слух, что скоро опять появятся деньги “с постоянной стоимостью”, и через некоторое время они действительно появились. Неказистые маленькие бумажки коричнево-зеленой расцветки с надписью: “Одна марка ренты”. Расплачиваясь ими в первый раз, человек с некоторой опаской ждал, что же будет. Но ничего не было. Их действительно принимали, и он получал свой товар, — товар, стоивший биллион. Так же было и на второй день, и на третий, и на следующий. Фантастика!

Доллар перестал расти. Акции тоже. Но стоило перевести их в новые марки, как они фюить! — и превращались в ничто, как и все остальное. Таким образом, ни у кого ничего не осталось. Однако вскоре начали выплачивать в этих марках зарплату и жалованье, а еще через некоторое время, вот чудо-то, появились даже гривенники и пяточки, твердые блестящие монетки. Они приятно позвякивали в кармане, а кроме того, сохраняли свою стоимость. В четверг можно было что-то купить на деньги, полученные в прошлую пятницу. Мир был полон сюрпризов.

За несколько недель до этого канцлером стал Штреземан. Политика вмиг стала гораздо спокойнее. Никто больше не говорил о гибели рейха. Союзы, ворча, вернулись к состоянию, похожему на зимнюю спячку. Из них ушли многие члены. Никто больше не пропадал без вести. Из городов исчезли спасители. Вся политика, казалось, сводится единственно к спору между партиями о том, кто же все-таки изобрел “марку ренты”. Националисты утверждали, что это был Гельферих, депутат-консерватор и бывший кайзеровский министр. Левые, не соглашаясь, называли имя доктора Шахта, верного демократа и твердого республиканца. Это были дни после потопа. Все было потеряно, но вода уже начала спадать. Старики не могли вспомнить ничего похожего, чтобы вновь завести свою песню о том, “как было тогда”, а молодежь испытала что-то вроде легкого сотрясения мозга. Двадцатилетним директорам банков пришлось снова подыскивать себе места младших клерков, а школьникам —

обходиться двадцатью марками карманных денег. Конечно, были и “жертвы стабилизации валюты”, кончавшие жизнь самоубийством. Но количество тех, кто начал понемногу вылезать из своих нор, спрашивая себя, неужели опять можно жить, было намного больше.

Общая атмосфера слегка напоминала похмелье, но все-таки облегчение чувствовалось. К Рождеству весь Берлин превратился в огромную рождественскую ярмарку. Каждая вещь стоила десять пфеннигов, и все покупали себе трещотки, марципановых зверушек и прочую детскую дребедень, только чтобы убедиться, что опять стало можно купить что-то за десять пфеннигов. А может быть, и для того, чтобы забыть последний год, все эти последние десять лет, и вновь почувствовать себя ребенком.

Во всех лавках висели плакаты: “Снова по ценам мирного времени”. Впервые за много лет настало нечто, похожее на мир.

11

Это и был мир. Начало единственного по-настоящему мирного периода, которое довелось пережить моему поколению в Германии: время с 1924 по 1929 год, когда политикой страны управлял из министерства иностранных дел Густав Штресеман. “Эпоха Штресемана”.

Возможно, о политике можно выразиться теми же словами, как говорят о женщинах: лучшая из них — та, о которой меньше всего говорят. Если так, то политика Штресемана несомненно была лучшей. В его времена почти не было политических дебатов. Разве что в первые два-три года: о борьбе с опустошительными последствиями инфляции, о плане Дауэса, о Локарно и Туари, о вступлении в Лигу Наций: это были события, которые обсуждались. Но и только: политика перестала быть тем, из-за чего бьют посуду.

Года после 1926 нечего стало и обсуждать. Материалы для аршинных заголовков газетам приходилось разыскивать в других странах.

В нашей стране ничего нового не происходило, все было в порядке, все шло своим чередом. Иногда сменялось правительство, у власти находились то правые партии, то левые. Но большой разницы не было. Министром иностранных дел всегда был Густав Штресеман. Это означало мир, отсутствие кризисов, *business as usual*.

В страну текли деньги, стоимость денег не менялась, бизнес шел хорошо, старики вновь начали понемногу извлекать из сундуков свой житейский опыт, приводить его в порядок и выставлять напоказ, как будто тот никогда не обесценивался. Последнее десятилетие было забыто, как страшный сон. До рая

опять стало далеко, спрос на спасителей и революционеров упал до нуля. Общественной сфере требовались лишь исполнительные администраторы, частной — бойкие торговцы. Было вдоволь свободы, покоя, порядка, доброжелательнейшего либерализма всюду и везде, были хорошие зарплаты, хорошая еда и немного общественной скуки. Каждому предлагалось спокойно и безмятежно заниматься своей частной жизнью, устраивая ее по своему вкусу и фасону.

Но тут опять произошло нечто странное — и в этом я вижу одно из важнейших политических событий нашего времени, о котором не писали в газетах. Этого предложения почти никто не принял. Никому было не надо. Оказалось, что целое поколение в Германии не знает, что делать со столь щедро подаренной ему частной жизнью.

Очень молодые и совсем юные немцы примерно двадцати следовавших друг за другом годов рождения привыкли черпать все сколько-нибудь важные события, все поводы для глубоких эмоций, все объекты любви и ненависти, ликования и траура, все сенсации и острые ощущения извне, из общественной сферы, охотно беря их, так сказать, бесплатно, даже если к ним прилагались такие вещи, как бедность, голод, смерть, неразбериха и риск. Когда же поставки этого бесплатного продукта прекратились, они оказались беспомощными, чувствуя, что их ограбили, обделили, приговорив к разочарованию и скуке. Жить своей жизнью, делать эту свою маленькую частную жизнь великой, прекрасной и достойной, наслаждаться ею и находить в ней интерес — этому их никто никогда не учил. Поэтому спад общественной напряженности и возвращение частных свобод были восприняты ими не как подарок, а как самый бессовестный грабеж. Они скучали, постепенно дурея от этой скуки, роптали потихоньку — и чуть ли не с жадностью хватались за каждый промах властей, за каждую неудачу или инцидент в надежде на скорый конец мирного времени и начало новых коллективных авантур.

Чтобы уж быть точным — а эта проблема требует точности анализа, потому что именно она, по-моему, и является ключом ко всему тому этапу всемирной истории, который сейчас переживаем мы все, — добавлю: так реагировали не все и далеко не каждый из того поколения юных немцев. Были и такие, кто, пусть неумело и с опозданием, в это время, можно сказать, учились жить, находя вкус в своей собственной частной жизни, постепенно отвыкая от сивухи военно-революционных игр, и начинали становиться личностями. Именно тогда, невидимо и незаметно, образовалась и начала расширяться та бездонная

пропасть, которая разделила потом немецкий народ на нацистов и ненацистов.

Я уже говорил где-то выше, что у моего народа способность к личной жизни и личному счастью выражена слабее, чем у других. Позже, во Франции и Англии, мне довелось с удивлением и не без зависти понаблюдать (и поучиться), какими счастливыми могут ощущать себя люди, каким неисчерпаемым источником энергии может всю жизнь служить, например, французу его каждодневный со вкусом приготовленный обед, солидный мужской разговор за бокалом хорошего вина и красиво обставленные любовные приключения, а англичанину — его сад, забота о животных и бесчисленные, по-детски серьезные спортивные игры и хобби. У среднего немца не было ничего даже похожего. Лишь небольшая прослойка образованных людей — не такая уж маленькая, но все равно в меньшинстве, — умела и до сих пор умеет находить смысл и радость жизни в книгах и музыке, в осознании своей роли в этой жизни и в выработке собственного мировоззрения. Что было у нас, принадлежавших к этой прослойке? Доверительный обмен мнениями, умный разговор за бокалом вина, традиционная и немножко сентиментальная верность старым друзьям и, наконец, любовь к семье и сосредоточенность жизни на ней — вот в чем были наши горести и радости. Десять лет, с 1914 по 1924 год, похоронили под собой все эти ценности, а молодым уже не нужны были эти наши традиции и обычаи.

За пределами же этого образованного слоя главную опасность тогда в Германии представляли душевная пустота и скука. (Опять же исключая некоторые географические окраины — Баварию, Рейнланд, — где все-таки были юг, романтика и юмор.) На просторах же северной и восточной Германии, в этих безликих городах, за всей суетой четкого, аккуратного и лояльно поставленного бизнеса, не говоря уже об администрации, людям грозило и грозит отупение. А еще, конечно, *horror vacui* и поиски спасения. Спасения в алкоголе, в суевериях или, лучше всего, в каком-нибудь повальном, увлекательном, низкопробном массовом психозе.

Такая ситуация, при которой в Германии лишь сравнительно немногочисленное меньшинство (отнюдь не обязательно связанное с принадлежностью к аристократии или к большому бизнесу) осознавало, что происходит на самом деле и какие могут быть из этой ситуации выходы, — кстати, вот вам еще одна наша особенность, в силу которой Германия в принципе не способна иметь демократическое управление, — эта ситуация в период с 1914 по 1924 год угрожающе обострилась. Взрослое поколение, пережив крах всех своих идеалов и надежд, потеряло уверенность

и оробело; старики засобирались в отставку, выискивая себе на смену молодых, всячески улещивая их и ожидая от них чудес. Молодые же не знали и не хотели знать ничего, кроме общественной шумихи, сенсаций, анархии и опасной эйфории рискованных игр в числа. Они ждали лишь возможности самим устроить опять все то, во что их так усиленно вовлекали когда-то, только с еще большим размахом, а вся эта частная жизнь была для них “скучной”, “буржуазной” и “позавчерашней”. А массы, тоже привыкшие было к разным сенсационным беспорядкам, в их отсутствие начали постепенно расслабляться и загнивать, кстати, не без влияния их последнего великого суеверия — педантично цитируемого и торжественно чтимого премудрого св. Маркса, с верой в его чудотворную силу и упованием на автоматическое свершение предсказанного им развития общества.

Так, незаметно для глаза, оказалось подготовлено все для начала великой катастрофы.

На поверхности же в обществе по-прежнему царили счастливый мир, полный штиль, всеобщий порядок, благоденствие и доброжелательность. И даже явные признаки надвигающейся катастрофы казались лишь деталями столь отрадной картины всеобщего благоденствия.